

**ЛЕОНИД
НЕМЦЕВ**

ДВЕ ЮЛИИ

Леонид Немцев

Две Юлии

Издательский дом «Городец»

2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос=Рус)6

Немцев Л.

Две Юлии / Л. Немцев — Издательский дом «Городец», 2018

ISBN 978-5-906827-52-4

Роман представляет собой историю любви. Образы двух девушек сливаются и мерцают в сознании рассказчика, и отделить одно чувство от другого так же трудно, как разделить на составляющие солнечный свет, – а главное, не нужно. Нужно быть таким рассказчиком, как Немцев – таким внимательным к внутренней форме слов и внешней – вещей, – чтобы подарить читателю чудо «объемного чтения»: когда, читая книгу, кожей чувствуешь дуновение ветра и качающиеся тени ветвей деревьев.

УДК 821.161.1-31

ББК 84 (2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-906827-52-4

© Немцев Л., 2018

© Издательский дом «Городец», 2018

Леонид Немцев

Две Юлии

© Л. Немцев, 2018

© ИД «Флюид ФриФлай», 2018

* * *

Посвящается Андрею Анатольевичу Темникову

Мне хотелось начать жить – и в этом ожидании не было ошибки. Я заранее был убежден, что не помнить и не различать прекрасное – залог обязательного несчастья. Два недуга, – которые я угадывал в себе, сдерживая их увертливость письменной работой, – мало похожи на чувства. Они, скорее, – следы невнимания и недоверия (или вторым слогом короче).

Мы многого не знаем, что происходит в нас, и все, дающее этому имена, обманывается и скучает. Две неприятности, касались ли они тугого устройства моего черепа или шли от неумолимой слаженности мира, слишком уж странно переменили мою судьбу – особенно уже случившуюся. А за ними, дальше, чем это казалось доступным, находились другие наваждения. Как новорожденный следит за бликами, которые вдруг могут набрать отчетливости и стать бутылочкой воды, очками, родным лицом, так я однажды начал вглядываться в два пятна света.

Обе они были для меня только Юлиями. Имя каждой из них по отдельности, начиная произноситься как безотчетный порыв поцелуя, растворяется в выдохе, будто что-то смутило целующего. И я был волен не оскорбить нежной попытки, не проходить мимо чего-то, прояснившегося для глаз, с усмешкой случайного привидения.

Самое лучшее, что происходит в мире, – это незаметный рост деревьев. Вот где не бывает ничего неожиданного и при этом неуклонно творится чудо. В то, что мы чувствуем как пугающий недостаток, как оскорбительную нехватку, – неспешно натекает много высокой радости. Это потому, что нет прошлого, которое можно проверить, не пережив его заново, но есть нежность, которая всегда помнит о нас.

I

Какого же сострадания достоин тот, кто, будучи несчастным в любви, несет в своей крови несколько больше тестостерона, чем рядовой романтик. Его горькие глаза особенно одиноки внутри пещерных глазниц, а под рваным румянцем гуляют отчаянные желваки.

Именно таким показался мне тихий мой соперник, неожиданно (как все, что творилось вокруг медлительной Юлии) вынырнувший между нами из цветущей и пахнущей арбузом волжской воды... Я, собственно, даже не заходил в нее, когда Юлия – с самой невинной демонстрацией своей безжалостной простоты (всегда ведь ведала, что творит) – настояла на моем прибытии на смрадный городской пляж в разгар пивного сезона, когда телесная лавина накапывает на песчаный краешек берега, взбивая нечистую пену вдоль Волги. Нигде человеческие глаза не выглядят так неприлично, как среди розово-бронзовой плоти и ярких купальников.

Тем летом мне было на зависть прохладно в укромном сумраке первого этажа, в тени рябин и вширь разросшегося тополя. Форточка днем оставалась плотно закрытой, от зноя и пыли это спасало, а комары знали, что стоит дожждаться вечера. Я целыми днями читал при свете светильника, обложенный подушками – для кратковременных провалов в сон – и яблоками, от глянцевого поцелуев которых просыпался. Но в то время я невольно радовался урчанию только что поселенного у меня проводного телефона, а ее звонки были особенно редкими.

В ее переходах с уютной обстоятельности на округлую скороговорку я все еще различал какую-то нарастающую радость. Мне так понравилась невольная щедрость ее прыгающего голоса, она просила подождать и что-то пела недалеко от трубки, смех мешал ей закончить одну и ту же фразу. Я уже не мог восстановить гармоничную прелесть сонного своего покоя, моя книга легла на крупное яблоко и опустила крылья. Этого так много – какой-нибудь звенящий призыв, даже если она успела забыть, какой это праздник только что мне готовила. После неловких колебаний, я заранее облачился в плавки, а потом аккуратно снял с яблока и закрыл книгу. На случай, если не вспомню нумерацию разворота, я отметил про себя две блестящих вмятины на тексте и на графическом рисунке напротив (разумная лошадь, вставшая на дыбы перед лежащим человеком в камзоле). Но все это при любом условии забудется.

По пути на пляж я перестал радоваться коммуникативным дарам. Это был страшный путь, пересекавший восемь улиц, большей частью открытый бесчеловечному солнцу, пеший – потому что никакого прямого транспорта не было (впрочем Шерстневу как-то удавалось использовать троллейбусные зигзаги с двумя пересадками, он бодро прибывал всего на четыре минуты позже замученного пешехода). На горячем граните набережной я снял сандалии, и, пока сияющий ад жег мне ступни и глаза, здесь или там простоволосые юлии или юлии с заколотыми волосами в красных, салатových, полупрозрачных бикини или в сплошных мокрых купальниках выходили из воды, выжимая косу, или падали на колени, вытягиваясь за ракеткой и успевая подбросить в воздух воланчик вместе с рассеянной пленкой своих легких волос. Ее вождя подлинника – с русалочьим потоком, слегка обрисованной улыбкой и тяжелыми ресницами – я не нашел и потому брезгливо сел на песок посреди голой толпы, которая шлепала резинками, глотала из мокрого стекла, сглаживала капли воды с гладких бедер. Иногда волейбольный мяч, сея в воду песок, разбивал на воде желтоватое кружево.

Я начал бояться, что запамятовал за чуждым всплеском радости название того спуска к набережной, который мне был нужен. Я встал и еще раз медленно оглядел натянутые вокруг меня купальные костюмы.

Неожиданно с лежанки из полосок тростника, собирающихся в широкую пляжную сумку (только из клеенчатого кармашка еще надо вытрясти песок), подняли голову и меня окликнули (– шегольская вещь, эти мокрые тростинки вместе с полотенцем и купальниками оказываются внутри цветастой самобранки); это была уже не Юлина голова – густая копна волос та же, только остриженная в беспорядочное, неуправляемое каре (– забудешь такую сумку в коридоре, и наутро мокрые вещи задохнутся: женские почти тающие трусики и бюстгальтер с изогнутыми косточками, еще очарованно сохраняющий очерки двух затвердевающих во время купания пуговок, а рядом – пересыпанные мокрым песком мужские плавки).

Она встала и подошла ко мне, удивляя не успевшей еще загореть, новой, беззащитной шеей, и еле заметным, почти улиточным закруглением вокруг пупка, и высоким кольцом талии, – всего этого – даже розового шрама на левом колене – я, наверное, никогда еще не видел. После вялого приветствия я почему-то с новым волнением и неверием продолжал оглядываться вокруг. Она уже при помощи растянутого щебета собиралась с мыслями, но ее как будто все еще не хватало. Темное жесткоетело в черных плавках, оставшееся на тростниковой лежанке, мне тут же было представлено, и с вежливой простотой для меня сразу прозвучало из дыма ее нового, обкраденного облика, что это ее жених. Все эти приличия были не очень интересны, я рассеянно оглядывался вокруг себя, и среди еще только спускающихся с гранита на песок мучеников, и за тучным атлетом, и за перемешанными, как змейки, школьницами, я все еще думал увидеть мою Юлию.

Жених был неуловимо похож сразу на нескольких киноактеров, по крайней мере, мне удавалось так думать. Мне странно сразу изучать лица представленных мне незнакомцев. Похоже, неловкость проходит только на тех встречах, когда моя неспособность припомнить их имя обижает существеннее, чем бесцеремонность разглядывания. Но у этого были веселые,

добродушные глаза в безопасной прямизне белесых ресниц – и все время эти глаза исчезали, будто боясь помешать чему-то незначительному вокруг. Они глубоко уходили в глазницы и ухитрялись там неухватливо суетиться. Я не запомнил этих глаз, но обрамляющие их суфлерские будки с полукружьем лепестков раковины да как-то весело разбредшуюся поросль бровей я изучал долго и неотступно. Его загар был равномерно присыпан песком и веснушками, в несколько тонких рядов по бугристой спине шли белые воланы из недавно помертвевшей кожи. Когда он поворачивался, у него хорошо ходили высоко поднятые лопатки и завидно отполированный подбородок несколько раз взглянул на меня синеватой вмятиной.

Новый знакомый не очень смутил нас жаждой разговоров. Он, кажется, сказал что-то уместное и умеренно шутовское, не припомню, что это было, и продолжал облупляться на солнце. Юлия то купалась, то подбегала ко мне, и сквозь колючую майку я внезапно узнавал ее мокрую ладонь, а на мое вельветовое колено падали тяжелые капли. Я видел, что иная капля срывалась с хрупкой, слегка продленной косточки предплечья. А как она до этого стремительно сбегала, начиная путь еще из озера ключицы после наклона, потом перетекала, не доходя подмышки, на внутреннюю гладкость тонкой руки и только в дрожащем обороте по ней достигала локтя. А на моем колене все сразу тускнело. Жениха это не волновало нисколько, впрочем ему тоже доставался остаток холода с ее удивительно приятных ладоней. Он морщился, недовольно ворочался – похоже, это была природная вежливость. Юлия смеялась.

Слишком уж много Юлия сетовала, что пальцы нельзя держать мокрыми все время: «Когда выходишь из воды, не видно ни одного заусенца, ногти идеально блестят!»

– А тут будет плохо, – сказал жених, защищая подушечку пальца, – если все время мочить.

Она была идеально естественна, но именно сейчас я удивляюсь этому приглашению к знакомству с ее неревнивым и добродушным избранником. Я и тогда уже мечтал сбежать, но был оглушен, прежде всего тем, что обратный путь в гору представился мне невыполнимым в одиночку. Жених Юлии успевал быть более деликатным, чем я, и скрывался, замолкал, исчезал раньше меня. Мы не столкнулись ни плечом, ни взглядом. Его во всех отношениях удобное устройство не допускало какого-либо соперничества. И несмотря на отчаянную резь горячих плавок и другое неудобство, от которого легко избавиться в воде, я оставался на песке до окончания их купания, потом мы пили какао в одном из липких кафе.

Она мельком вспоминала знакомых. Штурман гастролировал с новой группой, Вальдшнепов хорошо смотрелся по телевизору, Никита по-прежнему в тяжелом состоянии, Блинова открыла магазинчик садовых гномов и водит машину. В Москве теперь не у кого будет остановиться, так как наша общая знакомая уходит в декрет и, кажется, вот-вот вернется домой. Сюда.

– Куда ты все время смотришь? – спросила она. – Давно с ней не виделся?

– Год-два, – я был не уверен, нужно было проверить записи.

– О ком это? – напомнил о себе жених.

Она ответила с затейливой дерзостью во взгляде:

– О Юлии.

– Выходит, – заметил он, недалеко ходя за шуткой, – я не все о тебе знаю. Живешь в Москве? А можно подробнее о декрете?

Тощая понял, что ради этого известия (и немного – одним затупленным краем бытовой мстительности – ради сравнения меня с женихом) я и был вызван из вечного своего одиночества.

– Когда? – спросил я с безгрешной мягкостью великой благодарности.

– Сроки ставят на конец осени. Представляешь, у кого-то из нас уже будут дети! – и Юлия неустойчивым взглядом пифии вгляделась в свое незатейливое будущее, растормошила жениху волосы и тут же ласково их пригладила, шутовски вздохнув от бремени такой заботы.

– Его мама, – проговорила она мне, значительно поведев глазами в сторону моего соседа, – работает на фабрике детского питания и уже обещала поставлять нашим друзьям сухое молоко «Кибела». Это лучшее.

Снаружи кулака, на фаланге его безымянного пальца, была проставлена цифра 1, на среднем – 4, и обе с готической претензией, с еле уместившимися завитками, которые пошли уже расплываться. Армейская метка, – других татуировок я не увидел. Все время меня поражало, насколько его взгляд, осторожный, как у подростка, подходил неудачливому ухажеру. Он позволил бы мне все вольности, захоти я отстоять привилегии старого друга. Он вызывал мое невольное соучастие в течение пяти с лишним часов нашего беспечного гуляния (парк – набережная – автобус – парк – пыльная улица – скверик перед ее домом), а потом – в последние годы – я совсем не видел его. На их свадьбе это произошло потому, что я уступил место свидетеля жениха (а только на него меня и звали) Юлиному кузену из украинской деревеньки, а все его приезды – уже счастливого мужа – обходились без моего участия. Думаю, даже после заключения брака его взгляд сохранил эту подростковую диковатость, из-за которой он все время исчезал и посреди разговора, и из снов про Юлию, и этой юношеской пугливости не помешало ни утяжеление подбородка (печальная деформация для его бильярдной геометрии), ни брезгливое расползание губ, ни увеличение карьерного веса.

У ее супруга открылась странная профессия (а я поначалу определил его в цирюльницы) – две трети года были заняты зарубежными разъездами по делам шоколадной компании, а по возвращении – огромные траты и подарки. Юлия сразу увольнялась со своей очередной работы, несколько недель бывали упрятаны в их комнате, обставленной цветами и редчайшими алкоголями. Новый отъезд мужа оставлял Юлию без куска хлеба в еще тлеющем начале депрессии, она становилась нудной, выносила из комнаты крошащиеся охапки роз, искала работу. Когда у меня появилась зудящая коробочка пейджера, то на фоне более ядовитой, чем ее глаза, зелени всплывали рифмованные строчки. В ее распоряжении оставалось несколько дорогих воспоминаний, некоторые из них, как это ни странно, были похожи на мои и на меня переносились.

Какой же варвар-парикмахер все-таки решился это сделать? Я с трудом пережил укрощение ее волос, с которыми могло срезать половину моего мира (если верить Бодлеру в доступной мне части его лирики). Любому ветру приходится грустить о том, что он не трогает теперь таких волос, которые замедленной шелковой щекоткой сопровождали ее шепот. Она почему-то любила шептаться. Пленительная манера, никак не оправданная ни посреди улицы, ни в пустом автобусе, ни в глухой комнате, и я почему-то никогда не мог этого шепота разобрать, будто это были стихотворные импровизации.

Но была и другая – изначальная – Юлия, с которой через полгода я уже понадеялся снова увидеться. Ее родительный приезд не то чтобы возвращал меня к жизни, но мог значить для меня настоящее ее начало. Тот муж и его ребенок – были, конечно, единственной сутью истории, но я все еще ждал не истории, а себя самого.

Ламиеподобная Юлия, принявшая ни на что не похожую фамилию – Полтианская, такой магией прошла по моему миру, что мне, несмотря на мое существенное несовершенство в области мнемоники, удастся теперь собрать кое-что из тайн, находящихся вне моего беспамятства. Память должна храниться не в нас, а в тех вещах, которые для нас бесценны. В тех, кто бесценен. Оно и легче!

II

Я познакомился с Юлией в последние дни августа 1992 года, когда поэт Шерстнев – водяной знак с упраздненных купюр моей бедной юности – повел нас в развалины большого дома, вставшего в самом центре города. Медленный троллейбус становился еще осторожнее, уходя на

боковую улочку и отворачиваясь от четырех этажей, забитых фанерой или заложенных шифером. Оставалось несколько дней до начала моей студенческой жизни, я был счастлив обручением с хорошим вузом, а Шерстнев был опытнее меня на год и теперь представил мне свою однокурсницу. У нее не слишком ладилось с учебой.

В дом, который мы искали, Шерстнев попадал как-то ради одного стихийного концерта (жизнь юных интеллектуалов не ограничивалась тогда унынием испаранной гитары и каплями призраков, рисованных окурком, на штукатурке заброшенных подъездов). Именно Шерстнев знал, как можно проникнуть в этот небезопасный цеппелин, запаянный и замурованный со всех сторон уже пару десятилетий. Входом оказалась начинающаяся далеко от самого дома череда кирпичных гаражей, расположенная в пустынном внутреннем дворике. Надо было взбежать по широким зарубкам отвесного бревна, держась за отводную стену того же дома, за решетки его занавешенных окон, и по ковровой дорожке из рубероида скользнуть в окно второго этажа под уже отогнутый лист крашеного железа. Рухнувшие лестницы и битое стекло. Мы обходили комнаты вдоль разрисованных стен по осыпающейся кромке, тогда как в центре этих комнат зиял нижний этаж. Она сплетала ноги, заглядываясь на просвеченные потолки, по шее пробегала бледная венка.

– Волшебное место, – бормотала она, не опуская головы. Шерстнев грубо ловил ее у края шелестящей пропасти, и я уже начинал завидовать его проворству. – Здесь так хорошо было бы снять фильм. У меня есть знакомые актеры. Представьте только, как из вон той комнаты выходит флорентинец со свитком или дама начнет искать за этой самой кучей штукатурки своего горноста.

Ее кружение, танцующий шаг и душистая речь заставляли меня думать, будто мы видим не обнаженную дранку и концы ржавых труб по углам, не просто битый кирпич и коммунальную краску, а путти и апостолов, полустертые фрески среди лепных листьев на потолке или, по крайности, оживающие линии животных в первобытной пещере.

Шерстнев с восторгом определял местонахождение уборных и даже указывал осколки желтоватой керамики в пыли. Она хохотала. На ногах ее были довольно высокие туфли со шпильками, ловко долавливающие остатки стекла на полу, штанины сиреневых брюк оканчивались с обеих сторон золотой ниткой по слишком уж восточному краю длинных разрезов. Меня всегда удивляла эта способность девушек не без удовольствия порхать среди куч мусора и ограничиться потом удалением пыльной паутины с белоснежного рукава. Когда мы выбрались на воздух и я вместе с Шерстневым снял Юлию с крыши гаража, мои брюки были облачно посеребрены пылью, Шерстнев счищал желтый мел с колена. Мы кое-как привели себя в порядок, откашлялись от пыли, но алмазная резь – изнутри моих глаз, бронхов, артерий – потом уже не переводилась.

Решено было изменить путь отступления. Вместо того чтобы сквозь влажные тени смрадной подворотни, перетекающие со стен на асфальт, выйти прямо в слякотный грохот переполненной улицы, мы сделали еще один альпинистский трюк и за скромным деревянным забором в глубине двора открыли запущенный заросший дворик. Блестящие со всех сторон стекла, осыпавшаяся вокруг парадного входа штукатурка. На корточках перед самодельной скамейкой равнодушно сидел пожилой кошмарик: в курении задействованы большой и указательный, – особый выверт запястья – интимной стороной черной ладони на себя, когда вместе с разодранной об губы лохматой ножкой сигареты в рот лезут свободные пальцы; особая манера стаптывать тапочки и замызгивать майку. И среди этого – наш смех, путаница ее волос, блеск реки между тополем, высоким до ужаса, и неровно сточенным углом дома (непрерывный набор ангельских профилей). Мы склонились над нашими сумками, и, как только должны были столкнуться висками, она выпрямилась с пустыми руками. Оказалось, что Шерстнев уронил Юлину сумку по ту сторону забора и теперь мечтательной поступью отправился за ней через улицу.

– А знаешь, что делает горноста́й в руках благородной дамы? – такова моя манера внезапно делиться курьезными догадками.

– Кажется, он мог исцарапать ей все руки, – вглядываясь в блеск реки и слишком уж серьезно ответила она. – Не представляю, как его могли приручить.

На остановке Шерстнев признался мне, что давно хочет кое-что заготовить и ему требуется пойти на поиски ларька. Мы снова остались наедине с Юлией, и я посмотрел в землю, чтобы собраться с силами и как-то пережить это новое мучительное уединение. Я понимал, что она опять вскользь ответит на мой вопрос, если я его придумаю, и не к чему будет прицепить новое добавление, и вдруг она быстро и прямо заговорила сама.

Казалось, что все вокруг завешано ее волосами, и слышался какой-то сладкий запах духов, не со стороны Юлии, но из моей собственной головы – на выдохе, в зудящей точке вотума у кончика носа. Я потерял мотив, вызвавший эту головокружительную речь. Она внятно и подробно спешила рассказать о себе все.

О детстве в северном городе – таком новогоднем и диком; о том, как долго и бесплодно ребенок разбивает кедровые орешки чесночницей, пробуя иногда на зуб самые увертливые; о первой пробе алкоголя – сразу полной бутылке шампанского; совсем интимное признание в любви к Платонову и Шёнбергу; о том, как тяжело и пусто ей было переживать полугодовые рабочие командировки отца – помощника капитана, ныне отставного; о добрейшей маме и потешном двоюродном брате из Одессы; о том, как прошедшим летом ей сладко читалось на даче; о мечте завести какого-нибудь странного зверька или большую собаку; о ненависти к балету и бледным чернилам в шариковой ручке.

Если бы в дальнейшем подобные приступы обстоятельного нарциссизма были постоянны, мне бы могло казаться, что я услышал не один монолог, а бесчисленную серию откровений, из которых наспех выхватываю теперь что только подвернется. Но в том-то и дело, в том-то и дело, что тогда, за единственный короткий раз, в первый день нашего знакомства, она выдала о себе ровно столько, сколько я мог бы узнать, если бы уже давно был ее другом. Казалось, этого невероятно много. И больше никогда я не слышал от нее мгновенных избыточных рассказов, какой сложился (и таинственный умиротворенный Шерстнев уже крутился рядом) перед ее отъездом домой, как сон, который успеваешь присниться до самого своего конца в момент пробуждения, когда уже было объявлено кем-то требовательным и бодрым, что все-таки придется вставать.

Как только ее троллейбус тронулся и затанцевал, в нем сразу включился сильный, как в бальном зале, мазурочный свет. Она дошла до середины салона и выбрала среди свободных сидений одно, вместе с волосами взмахнула нам квакающей ладошкой, – не садясь, плавным оборванным кругом всего тела поправила волосы и опять помахала всеми лучами своей слепящей пятерни. Вот тогда я впервые тяжело и обреченно вздохнул.

У поэта Шерстнева была необъяснимая тяга по вечерам потягивать крепленые вина на пыльных затоптанных скамейках. Когда только он успевал писать столько стихов? Он говорил, что это удавалось на обратном пути в трамвае... Мы добрались до нашего любимого сквера, и как раз перед нами из-под желтой взъерошенной ивы уходили школьники. Шерстнев сладострастно коптил зажигалкой пластмассовую пробку, размягчая ее со всех сторон так, чтобы она свободно снялась со звуком влажного поцелуя. От нагретой пробки пахло барбариской, а из ядовитой пустоты горлышка несло резиной. Вокруг скамейки были рассыпаны художественные сокровища – коллекция по-разному искаженных и по-разному втоптаных в землю железных пробок, несколько пробок пробковых, горсть выдохшихся зажигалок, образцы скромной табачной полиграфии. Шерстнев обычно молча попивал из бутылки приторную жидкость, иногда и я делал глоток. Бывало уныло, я мог что-то долго и бесцельно рассказывать, Шерстнев – без советов, без вопросов – мутно всматривался в самых дальних, самых неразличимых прохожих и тяжело кивал головой, все веселее и спокойнее шурясь в сумерках.

Сейчас он опять молчал. Не было смысла спрашивать его о Юлии. Если Шерстнев чувствовал посторонний интерес к чему-либо, то скорее пускался в философские предостережения, никак не связанные с темой, вызвавшей любопытство: «Скоро ты сам устанешь от этого, поймешь, что ничего нельзя как следует знать...» Он был похож на египетского жреца, охотно напоминающего о смерти, – непременно участника светских пиршеств.

Ночью мне было легко и трудно, я не мог заснуть. Шторы я обычно раскрывал на ночь. Когда перестали грохотать трамваи, световые ножницы от встречных ночных фар стригли тени деревьев на потолке над шкафом и прозрачный студень светлой ночи колебался внутри комнаты, от пыльных пятен стекла в его плоти сквозили более плотные световые призраки. Как это было в детстве, я снова старался убедить себя, что мохнатая голова викинга или Минотавра сквозь прутья решетки бросит внезапную тень на ближайшую ко мне стену. И, испуганно улыбаясь, ждал особенных снов, которые все еще идут ко мне.

III

Мое трагическое свойство – ватный колодец памяти с глубиной и состоянием дна для меня неизвестными, что сказывается на моем восприятии многих свойств мира. Я сложными способами признаю знакомых, но лица киноактеров забываются до их нового явления. Телефонные цифры для меня на одно лицо, зато я улавливаю адреса, звучащие в кинофильмах или встреченные в книге. Вообще сор, окружающий выдуманных героев, хранится мной почти без труда. Эти мелочи, эту ерунду, которую никак нельзя сопоставить с настоящей памятью, я собираю горстями. Но все, что касается подлинных имен, живых человеческих слов, готовых фраз, цитат, слов другого языка, все это бесконечно летит в колодец, и я не слышу отзыва окончательного приземления. На память жалуются все люди, и прав Ларошфуко, замечая (цитирую по детской записи, прирученной при помощи квадратного персикового блокнота), что почему-то никто при этом не жалуется на недостаток ума.

В школе мою память пытались воспитать, мне повезло с классной руководительницей, которая вела чтение и русский язык, вела их так, что оба предмета – с одинаковым чудом и информативностью – превращались в сказочный театр. Возможно, это неуместно для современной сцены, но наша Тамара Владимировна использовала дребезжащие завывания, заламывания рук, скачки в сторону, умоляющий шепот и такие роскошные паузы, что с тех пор я остаюсь холоден ко всем ухищрениям подлинного театра, но умею читать и воспринимать язык особыми всплесками охлаждения и жара в легких. Впрочем это никак не касается других языков. И поэзии – ведь, как говорила Тамара Владимировна, восприятие стихов происходит неожиданно, мгновенным взрывом, когда они уже обкатаны в нашем сознании. Одним словом, их необходимо заучивать... А этот процесс для меня возможен лишь в своей безгрешной условности.

Движение запоминания строится у меня по всем древним правилам, я знаю тысячи греческих ухищрений, все эти лунки в стене и трещины на колоннах, в которые оратор вкладывает отломанные мякиши речевых сегментов, чтобы потом, мысленно повторяя путь по знакомому проходу в любимом портике, свободно излить на восхищенного подсудимого обвинения в политической измене. Я свято соблюдал маршруты по знакомым путям, и без стыда признаюсь, что подобные уловки всегда помогали мне сносно отвечать урок. Я аккуратно обходил все тайники, собирал лежащие в них запасы, называл их вслух и тут же проглатывал. Лучше всего мне удавалось использование внутренних шагов по своему домашнему коридору (пальто, плащ, детская вешалка в виде тощей таксы, по другую сторону – каретный светильник, зеркало с черными завитками...) или прогулка по дорожке на даче, но все это само по себе требовало баснословных усилий. Легче получалось заучивать заданный параграф по рисунку класса с сидящими за партами одноклассниками с навсегда определенным местом (и нередко позой)

для каждого. Я придумал хороший маневр, чтобы не обременять память лишними усилиями в момент ответа и не беспокоиться о том, что мной пропущена какая-то домашняя мелочь. Выходя к доске, я попросту адресовал каждую фразу стерильного для себя текста двойной цепочке невнимательных рожиц, и, если кто-то отвернулся или отсутствовал, меня это не сбивало, его место было ненадолго занято пустой фразой. Какой именно и кто из одноклассников символизировал ее, уже не знаю, не могу привести примера. Хотя предполагаю взрыв бессвязных фраз о полезных ископаемых в Забайкалье, хоругви Александра Невского, о неустойчивой валентности ионов на каждом лице, когда в старости, еще более склеротической, открою школьный альбом. Может, как в случае возрастного перехода близорукости в дальновзоркость, и у меня пойдет волнующая прорва воспоминаний. Я начинал с первого ряда и редко доходил до второго, отправляясь с пятеркой на свое место для прилежных учеников в начале ряда, идущего вдоль окна. В своих ответах я редко использовал этот ряд, поэтому треть моего класса так и осталась за моей спиной, где обычно бесшумно сидела.

Моя учительница во многих отношениях была педагогически наблюдательной и предупредительной – она рассадилась класс так, чтобы шумные и быстро отвлекающиеся лодыри оказались на виду и подальше один от другого и ни одного визуала рядом с окнами. Меня изводило то, что близко к окну сидела равнодушная к листве и пешеходам скрипачка. Я забывался при виде чужого движения, в котором была сладкая нота, вал неуловимых изменений, которых никто не обязан был помнить (дома я часто стоял у окна и с улицы иногда кивал таким же наблюдателям, в основе своей престарелым). Учительница быстро опередила препятствующий моему развитию недуг. Ведь мерцали во мне некоторые способности – и я всегда (обычный повод для подтрунивания друзей), даже в университете, делал уроки.

Эффективнее всего работало одно домашнее изобретение. Вместе с матерью мы собрали пеструю пародию четок, состоящую из четырнадцати неповторимых пуговок, деталек и бусин с гранеными поверхностями или странными формами. Вся эта туземная россыпь нанизывалась на тонкий шнурок, и если начинать от узла, то три-четыре полных круга могли быть отличным подсказчиком, если держать руку в кармане и редким незаметным толчком ногтя большого вдоль скрученного указательного переходить от одной фразы к другой. Тамара Владимировна почему-то не допускала, чтобы рука оставалась в кармане, и тогда проворные пальцы двух рук встречались за моей спиной на той или иной примечательной на ощупь строчке. Учитывая сакральное число частей этого набора, неудивительно, что я особенно блистал знанием сонетов и «Евгения Онегина».

Сначала я совершал довольно сложную работу, бессмысленную, но, как это кажется теперь, в ней было что-то художественное. Я старался установить хотя бы интуитивный контакт с каждой строчкой стихотворения и потому подбирал для нее особую пуговку, и только после окончательного распределения, взвешивания и проверки на совпадение цвета я нанизывал свою бижутерию на шнурок в определенной последовательности, которая могла совпадать только с одним стихотворением в мире, и один раз я с одинаковой ясностью мог исполнить его по часовой стрелке в двух вариантах, то есть хотя бы даже в обратном порядке стихов, – стоило только повернуть круг четок. И порядок, обратный заданному, иногда путал моих слушателей своей стройностью:

Не оживляла полотна
Узором шелковым она,
Не знала игл, склонясь на пяльцы.
Ее изнеженные пальцы
Мечтами украшали ей
От самых колыбельных дней

Течение сельского досуга.

Плоский круг четок – двухмерен. Когда я исполнил это наизусть в классе (наугад выбранный повествовательный отрывок из романа), это был первый случай такой ошибки. Мои одноклассники продолжали зевать, мальчишеские локти разъезжались по партам, а девочки сосредоточенно штриховали лепестки бантиков у большеголовых принцесс. Только Тамара Владимировна, не я сам, заподозрила подвох и с какой-то восторженной грустью восстановила правильный порядок после урока. Ее удивило то, что я совершил некоторое случайное передегивание в двух окончаниях. Моя учительница, выслеживавшая мои проблемы (которые я до последнего пытался держать в тайне), указала мне надежду на то, что неосознанно я все-таки предвкушаю смысл в стихотворной метели и довольно точно передаю свою вольную трактовку интонационной грамматикой. Нимало не странно то, что именно этому случаю я обязан своим профессиональным выбором.

Вскоре, из-за соображений времени, мне пришлось отказаться от лишних усилий, и выяснилось, что однажды заданная последовательность бус и пуговиц, которую я с тех пор не менял, годится для любого запоминания. Можно не верить, хоть это безобидный предмет гордости, но я стал тратить на акт заучивания одной строки – четырнадцать секунд, то есть семь раз неспешно повторял ее вслух, наставляя холодную пуговку задержать это в своем цветном стекле. Благо, что цеплять строки по смыслу мне было незачем и каждая из них закатывалась в память, как бревнышко, в семь оборотов. Вскоре я достиг того, что вовсе перестал нуждаться в тактильной помощи моих четок, слишком оттягивающих карман и слишком вызывающих постороннее любопытство. Усманов, единственный явный татарин в нашем классе (обладатель однообразных четок, крепко пахнувших клеем и рыбой), частенько обращался ко мне на тайном языке, и я делал вид, что понимаю его, потому что это тут же вызывало восторженную зависть одноклассников и было похоже на игру в шпионов.

В мысленном представлении, которое требуется постоянно освежать видом оригинала, я держу четки перед собой и, продвигая взгляд по кругу, лучше вижу их форму, и особенно мне нравится добавление нового отличительного параметра – цвета. Их сохраняет мой письменный стол, чтобы можно было подсказывать правильную последовательность деталей, которая слишком часто разваливается в моей голове, хотя я всегда могу собрать ее заново с помощью любой из своих записных книжек. Одна страница, как распределение часовых поясов в ежегоднике, заполнена этой описью.

Вот она (с благодарными уточнениями):

1) **желтая пуговица** (кое-где облупилась краска – есть прозрачные островки) с условной розочкой, похожей на ключ для смены сверл у электрической дрели. Маленькая петелька снизу;

2) **деревянный желудь**, полированный, с продольным желобом и двумя дырами на дне ямки (шнурок продет в одну из них, потому что в двух одновременных отверстиях застревают нить);

3) **красный пластмассовый рубин** с рассеянной нитки бус (пронзен насквозь);

4) **военная пуговка** с потускневшей звездой;

5) **черная пружина**, четыре с половиной витка и завершения острые, как у гвоздей;

6) большая, как блюдо, **прозрачная пуговица** с перломатовым переливом и четырьмя просветами, один забит шнуром (украшала «любимый халат» матери в домашнем предании);

7) **алюминиевая муфта** с тусклой толстой стенкой (мелко исчерчена);

8) **плоский серый гольш**, косо просверленный по центру радиуса (и есть у края белая складка);

9) **голубой шарик** (маленькая тесная дырка) – свинчатые вместе дырявые половины с детской куртки (капюшон? поясок?);

10) **серебряная монета** с квадратным окном в центре (Дальний Восток);

11) **оранжевая пуговица** из костной муки с декоративным гербом (на обороте выпуклое брюшко продырявлено вскользь);

12) **можжевельная трапеция** – часть ароматного браслета с недолговечной резинкой (со временем стерлись когда-то точные углы);

13) **граненый камешек из серебра** (червленый куб с просветом в смежных гранях);

14) **стальная раковинка улитки**, кулончик с нарочитой петелькой.

Тамара Владимировна, умудренная одной только счастливой отвагой, боролась с моей диковатой памятью исключительно при помощи поэзии Серебряного века. Ее излюбленные рыцари – служители особой веры, апостолы и миссионеры – были преимущественно особами женского пола, они бесстрашно низвергались в подвалы моего сознания, чтобы разыскать и просветить глухих идолопоклонников Мнемозины, строящих путаные катакомбы под аренами города.

Если с Владимиром Набоковым все просто, – ведь не случайно знатоки говорят, что как поэт он исчезает перед собственным гением в прозе, то – скажи мне это же кто-нибудь про Пушкина – я с радостью соглашусь.

Грешен же я в следующем. Я легкими кругами укладываю стихотворение на мои разнокалиберные четки и в течение нескольких дней могу без запинки произнести его, не стесняясь никакой публики, если она будет снисходительна к моему угловатому скандированию. Но когда оценка была получена и если теперь я переносу заученные строки из отдела упаковок под праздничную лампу подлинного интереса, под оберткой нечего обрести, – все исчезло. Все эти игры бесполезны для того, чтобы я хранил стихотворение в памяти бессрочный отрезок жизни, например до того момента, когда мог бы процитировать его в научной статье или перед аудиторией, если таковая у меня соберется. Так и номер чужого телефона я запоминаю вплоть до первого использования и оказываюсь в безвыходном положении, если звонок сорвался, а на аппарате нет функции повтора. И здесь процветает особая печаль моего положения, ведь постукивающая уловка никак не дает мне протиснуться в самый смысл стихотворения.

В школе я так и не дошел до стадии хотя бы приблизительного восторга перед поэтической речью, все рифмованные строки были для меня на одно лицо. И хотя я стал студентом-филологом и мог вычислить стихотворный размер, развинтить метафору, ухватить хвост ускользающей темы, вызвать одобрительный кивок педагога, – поэзия не трогает меня ни в каком виде, так, например, как чтение великой прозы – с изменением кровяного давления, задыханием и всей внутренней пантомимой, немного имитирующей жесты Тамары Владимировны. Как только она ни старалась своим бесстрашным чтением, не оставляющим шансов цинизму хулиганов, приближать меня к подобию понимания, внутри своего читательского опыта ни с царственной Цветаевой, ни с одержимой Ахматовой я не достигал просветления.

В результате таких поэтических подвигов у меня выработалось более стойкое уважение к герметичному содержанию поэзии, чем, скажем, к религиозным письмам, которые я обычно понимаю. Русское стихотворение для меня что сутра Корана, выполненная превосходной арабской вязью: я готов любоваться прямоугольниками его строф с рваным правым краем, который, на мой вполне адекватный слух, прекрасно выровнен рифмовкой. Я могу понять Пастернака и Маяковского на уровне их формального изящества, но все что там, внутри, погружает меня в холод уважительного отстранения, как буйный диалог двух сошедших с ума ученых-иностранцев, специалистов по языку йоруба или термодинамике (или только монолог одного из них, произнесенный другому – порождению зловещей болезни). Конечно, я продолжал ждать откровения от русской поэзии (выкрутасы моей памяти не позволяли мне прилично изучить какой-нибудь другой богатый на поэтов язык) и безрезультатно заглядывал во все домашние книжечки, где есть оборванные строки и много воздуха на полях. Меня часто видели с томиком у окна (строка – и взгляд на проходящих, чтобы не остаться без впечатле-

ния), распластанные книги пылали именами поэтов на письменном столе, на краю ванной, на подушке. От этого я прослыл среди домашних большим любителем поэзии, отчего все чаще подарки, имеющие по праздникам малейший смысл, заменялись новыми стихотворными изданиями. И если моя память еще была под подозрением у родителей, – что-то они о ней знали, – то недуг полной поэтической невосприимчивости оставался моей тайной.

Существуют стихи, обретение которых происходит на глубинном, интуитивном уровне, и, может быть, лучше для них, если они избегают нашего сознания. Когда я завожу об этом разговор с более счастливыми читателями, то мои прозрения насчет животрепещущего Ломоносова, сдержанного Есенина, страстного Бродского и многих других, кого я, кажется, начинаю уже, начинаю правильно чувствовать, подтверждаются этими людьми с нормальными человеческими способностями. Но у меня нет главного – трепета!

Прости, Шерстнев! Никогда я не понимал твоих творений, милый поэт, и даже в дружеском откровении я не смел признаться в своей беде, но лишь самозабвенно повторял общий медитативный кивок твоего собирательного читателя.

IV

Через несколько дней после знакомства с Юлией во мне тяжело качалась мутная и сладкая грусть. Я брел в университет через футбольное поле, на котором разминались игроки, выправляя майки, затягивая шнурки, уже начиная дышать паром.

Бог помнит, как я прожил эти дни. В то время я неизменно много читал, вел дневник (на тот момент – ни слова про Юлию и ее интерес к ветхому). Косица нашего прошлого сама собой расплетается на светлые, или сумрачные, или воздушные, или тяжелые пряди, и целое открытие – что кое-какие события, которые помнились в чуждости друг к другу, происходили на самом деле одновременно. Так удачливому туристу открывается, что и знаменитый проспект, и помпезный памятник, которые ему не терпелось увидеть, собраны в одном месте, что полная голубей площадь находится через два дома от обсиженной этими же голубями скульптурной группы и фонтана.

Только в те несколько дней уже затянулась, параллельно привычно обставленному времени, какая-то все замедляющая и раздражающе неуютная новость. Что-то похожее, может быть, испытывает квартирант, от которого прятали одну неоплаченную комнату, а потом вдруг из ленивого альтруизма эту комнату отпирают – пустая, гулкая коробка с дохлой паутиной вокруг туманного окна. И серые шерстяные булденежи вдоль стен. Квартиранту нечем эту комнату заполнить, он взялся было переносить туда диван, но проем противится, устроил застолье, но веселая болтовня гостей лучше слышна на балконе и в жаркой кухоньке. И вот время от времени он заглядывает в эту даровую комнату и осторожно обходит ее, будто боится упасть. И – что интересно – эта комната определит потом все воспоминания о целом периоде жизни и только она из всей истории кратковременного найма попадет в сны.

Я смутно догадывался, что состояниям, подобному моему, обязана мировая лирика, и поэтому меня тревожила та ледяная пропасть, которая отделяла меня от древнего и, может быть, утомительного знания. Никак не прояснялась и отказывалась назваться эта тоскливая и бледная немота в бесчувственном к скольжению времени сознании. Меня пугала не новая раздражающая и тоскливая болезнь, а мое спокойствие внутри этой тоски: большой лихорадкой прохладен и не в бреду.

Моя начитанность позволяла мне сравнить это настроение и с разного рода физиологической мукой, и с разочарованностью в чем-то. Не то это становилось новым витком юношеского плотского беспокойства, которое тем не менее сохраняло при мне свою прежнюю свербящую неуютность. То мне казалось, что так приходит известная по утреннему Шерстневу неотзывчивость похмелья; однажды я и сам слабо испытал это чувство каким-то сухим безрадостным

утром. Никакого сходства. Но самое главное, что я не смел пристроить этот перистый и слегка шатающийся мир ни к чему известному, ни к каким понятным мне краям.

Не требовался улыбчивый опереточный доктор, чтобы напеть мне, что я болен светлой и неизлечимой болезнью. Беда моя была мутной, нетвердой – вот-вот можно было оторваться от нее, – и она никак не связывалась с образом девушки, знакомство с которой состоялось недавно, третьего дня. Наверное, я почти осознанным усилием удерживал в себе это состояние, – из любопытства, из жалости, из невозможности представить себе мир без этого именно чувства. А оно испарялось, кривляясь. О Юлии к тому моменту я почти уже ничего не помнил.

Начало учебы все-таки казалось большой радостью, которая обещала быть долгой и, может быть, уже непрерывной.

В первый осенний день я был счастлив, как первоклассник. Это вспыхнуло во мне, конечно, в ту минуту, когда я прошествовал мимо (наконец-то мимо) своей школы на троллейбусную остановку. Студенческие занятия начинаются на час позже школьных, поэтому я взглянул на далекий (в общем-то, всегда чужой) праздник. Во дворе школы (больше не имеющей ко мне отношения) с безрадостной строгостью были построены сияющие дети. Роты отличались ростом. Казалось, что в периодичности бантиков и цветов есть какая-то строевая директива. В этом было бы что-нибудь зловещее, если бы эти ряды не волновались, если бы не бегал постоянно кто-нибудь, если бы детский гул не перекрывал слащавые детские марши, скрипящие из вынесенных на улицу динамиков, и если бы я не шел мимо. Даже в лужах попадались цветы. Шесть старшекласниц в торжественной прогулке занимали всю ширину улицы, и не костюмами, а осанкой и выражением лиц они все-таки доносили ощущение праздника.

Первая же лекция, которая состоялась в университете, не отвечала никаким невольным ожиданиям. Это была лекция по мифологии завораживающей преподавательницы, Сони Моисеевны Зелинской, которая ожесточенно кашляла и курила при нас, продолжая говорить гипнотизирующим и обновляющим хрипом. Она сразу объявила, что знания, полученные нами в школе, придется забыть, как потом во взрослой жизни, может быть, придется отбросить навсегда эти университетские откровения. Ее глаза безболезненно буравили нас из-за старых плотно пристроенных на лице очков (среди университетских преподавателей я вообще не помню классического жеста поправления оправы, при помощи которого люмпен высмеивает интеллигента). Хотелось вольно оглядеться, протянуть праздник, но эта лекция сразу же заставила себя записывать, и через полчаса бешеной стенографии сладко ломило пальцы. Это был урок ужасающего встряхивания мира и абсолютно непредсказуемого взгляда на вещи, казалось бы навсегда исчезнувшие. Зелинская вольно шутила, извиняясь за то, что ей достаются в основном девичьи аудитории, но тут же с площадной двусмыслицы уходила в страшную глубину. Многие впадали в ступор, кому-то хотелось спорить с ней и защищаться, и она терпеливо ждала понимания того, что объясняет всего лишь обрывки древнего сознания, которые куда прочнее нашего разорванного или заемного мировоззрения, а потому так похожи на истину. В строительстве устойчивых структур из этих самых обрывов ей не было равных. Она настоятельно напоминала, что выбранная нами профессия по части болезненной и грязной правды ничуть не чище медицинской.

Второй уже была лекция историка, который очень задорно рассказал свою биографию, описал семью и нажитый быт, а после потух, перейдя к своему предмету. Правда, в течение этого же семестра ему удалось оживиться, когда, поплутав среди темных дат, он поспешным броском обратился к советской истории. Этот лектор напомнил стойкую выучку, с которой все мы привыкли пережидать разморенное безделье, называемое в начале жизни «школой». Десять лет – это больше, чем половина на тот момент прожитого, но они не образовывали ничего, кроме костной мозоли на любознательности и нечеловеческой усидчивости.

Зелинская была первой, и от этого сложилось экстатическое ожидание, из-за которого я еще долго не лишал студенческую работу неподдельного интереса, хотя уже со следующего

дня понял, что ленивая безалаберность и курение со старшекурсниками – единственное, что заставит теперь приходиться на учебу хотя бы ко второму акту. Меня радовала спокойная, бесстрастная надежда, что университетские знания действительно проверены и необходимы и это будет отличаться от неврастенической медитации школьных уроков. Хотелось стать очень внимательным и аккуратным студентом, тем более что последние годы школы вовсе не приносили достойных новостей и совершенно развратили мою просвещенность. Я начал читать греческие трагедии и немецких философов и думал теперь, что всю жизнь буду заниматься только милыми и полезными для моего сознания вещами. В первые же дни учебы я научился курить и дважды пережил пивное отравление.

Третьекурсник Штурман, именитый музыкант из группы Burning Bright, которая постепенно доводила осмысленную музыку до скорости света, шеголял на крыльце красной пачкой «Dunhill» и при моем приближении автоматически выдвинул передо мной плоский ящичек, одно отделение которого еще покоилось в золотой фольге, а в другом слишком одиноко маялась моя первая сигарета. Вкус орехового масла сложился из нескольких глотков дыма – призрачного горького зефира, растворенную мягкость которого мне сразу удалось выпустить из ноздрей медленным потоком, повторяющим плотность и изгибы Млечного пути. Присутствующие при этом знатоки похвалили меня за мгновенный навык выдыхать дым через нос. Штурман, светло облегченный от скупости, радостно сетовал, что воспитал на свою голову еще одного сигаретного снайпера. Сильный ореховый привкус не проходил в течение всего дня, и после того, как я перекусил пирожками в университетской столовой, и пообедал дома, и в ожидании ужина с сосредоточенностью гурмана я все еще находил под языком оттенок того чудного послевкусия, которое на нёбе было уже совсем отчетливо. Наутро я позволил себе купить неуклюжего гиганта – пачку «Беломорканала», будто полагая, что именно большие квадратные пачки отвечают моим кулинарным предпочтениям, и уже с жадностью курил со всеми на крыльце, с недоумением осознавая, что непривычная набитость кармана чем-то сыпучим и ломким по-настоящему мешает и неэстетично достраивает фигуру.

Встречались преподаватели, с которыми мы знакомились не сразу, но уже видели их в коридорах. Светлый маленький Марцин, порхающий и светящийся в своих лекциях по зарубежному романтизму. По-чеховски бородатый Медведенко с прозрачным и ясным взглядом просветленного народника – специалист по XIX веку. Ветрушин с пушистой рыжей шевелюрой, источник грустной недосказанности и грубоватых парадоксов, безглаголиво тоскующий в мире, бесконечно далеко от полного понимания джазовых рулад. Величественный и импозантный Ушаков, специалист во всех ручейковых проявлениях интеллектуальной словесности, веселый ученый, рассудительный балагур. Надменная и справедливая Тенечева, по всем правилам застольного этикета ломающая пальцами обсахаренную плюшку за стоячим столиком в столовой. Ехидная и умудренная Иволгина, неторопливо идущая с бодрим уклоном вперед и с неизменным кулаком на поясище. Горячая и стремительная Федорова, преподающая методику, со своим умением в самый холодный день ворваться в аудиторию – с легким опозданием из-за огромного количества подопечных школ – и тут же взломать свежезаклеенное на зиму окно, торопясь отдышаться. Экзотичная и сложная Кираскова, знаток таинственной современности, способная терпеливо выслушать самый нелепый и сколь угодно долгий ответ и обстоятельно повторить его в тоне назидательного исправления. На кафедре русского языка служил строгий и сбивчивый Кадочников, обладатель профиля Казановы из фильма Феллини; профессор Арахисова ухитрялась третью часть года носить валенки и походить на обычную недовольную старушку; лучистая Горностаева, автор знаменитого учебника, скрывала глубокую старость под гладким и свежим обаянием.

Двух дней хватило, чтобы почувствовать себя студентом и перестать увязывать прослушанные лекции с каким-либо определенным временем года. Я почти не мог вспомнить Юлии, но уже хорошо знал, как изоощренно это принуждает думать о ней. Слишком торопливы в нас

самые несправедливые ощущения обреченности. Я плохо помнил все мгновения нашей прогулки, за исключением окончания вечера с Шерстневым, – потому, возможно, что этот вечер так потом и продолжался все теплое осеннее время и, кажется, на том же месте, на той же обсыпанной пеплом и шелухой скамейке.

В кино есть такой раздражающе-простоватый приемчик, когда нужное воспоминание – например, простоволосая возлюбленная – замедленно плывет в размытом кадре, и, чтобы его включить, герою необходимо только вытянуть задумчивый и грустный взгляд прямо перед собой (даже не вбок – что могло бы намекать психологу на характер припоминания).

Мог ли я как-нибудь так же представить себе Юлию? Боюсь, нет. Но, как бывает со многими, я ошибочно мечтал о кинематографических свойствах памяти. Я так верил, что кино и все без исключения искусства исходят из свойств нашего мышления, а не из собственных возможностей. И приходилось поучать себя сквозь боль: раз Юлия не плыла у меня перед глазами в хорошо отфокусированной ретроспекции, значит, она не была той возлюбленной, которую я должен был помнить.

В очередной раз я подходил к своему университетскому корпусу, похожему на фабрику или управление большого скучного хозяйства, и понимал, что Юлия вполне может прятаться среди всех, кто шел вокруг меня, кого я равнодушно обгонял. Мне мечталось – как самому воспаленному игроку казино верится в первый пришедший в голову номер – что, стоит только обратиться наугад к любой из этих девушек, она непременно окажется Юлией и узнает меня. Но я только нерешительно брел, выращивая в себе что-то тягостное и колючее. Когда кто-то догнал меня – одна из наиболее общительных однокурсниц, губастенькая хохотушка с неважной дикцией и опущенными плечами – я так тяжело, так пусто поздоровался с ней, что она тут же, нелепо вцепившись в легкий капюшон, будто снимая разорванные бусы первоначальной радости, побежала вперед.

На поле, которое я пересекал, заколотили в мяч, потом упустили его за бетонную стену, из-за которой он напоследок подпрыгнул, радостно оглядываясь и убегая. Несколько игроков тяжело уперлись в коленки и стали похожи на вратарей. Один игрок изучал круглые окна на верхней кайме бетонных щитов – как раз величиной с мяч, другой – в колышущейся мятой майке – сосредоточенной трусцой отправился в обход, в то время как блудный мяч сам собой решительно вернулся на поле, и вратарь, поймав его, хозяйственной перчаткой стал стирать с него известку.

Меня снова звонко и светло окликнули. Я радостно обернулся, потому что был уверен, что с первой однокурсницей обошелся неучтиво, и это слишком уж мстительно заставляло бы меня и дальше грустить, быть бездумным. Радость перестает быть натужной, если поверить в ее необходимость. С кем-нибудь надо было теперь быть простым и вежливым.

– А, это ты! – разочарованно испугался я, так как это была не очередная – малознакомая, рассеивающая, отвлекающая от тоски – встреча.

Она испуганно смешалась, улыбки я опять не разглядел, удивленно пошла рядом. И, хотя у меня все прошло, хотя я понимал, что эта минута – все искупает и видеть Юлию мне всегда будет необходимо, я не знал, что теперь сказать ей. Я невольно подглядывал за ее волосами со светлыми концами и светлыми прядями. Закругления ее надбровных дуг были безупречно гладкими и слегка подергивались акваарином. Кажется, этот эффект совсем не нуждался в косметических тенях. Когда она поднимала на меня недоверчивые глаза, верхние веки собирались в двойную тонкую полоску, а когда опускала – на них проступали лилово-мраморные жилки. Как же хорошо можно все это выучить, если смотреть урывками.

Я понимал с хрустальной простотой, что мне во что бы то ни стало (о, сколько коротких слов, похожих на сыпавшийся в руки выигрыш) необходимо сейчас же навсегда запомнить этот бледный облик. Мне странно рассказывать о своих проблемах с памятью. Тогда я осо-

бенно хорошо понимал, что мой внутренний приказ не сработает, я опять все растеряю, и видел только эти бесподобные частности удивленного лица.

– Я сегодня пересдаю, – с обреченной шутливостью сказала она.

Мне удалось подобрать глазами все лужицы, которые мы обошли на срезанном крае футбольного поля. Этот край был украшен почерневшей ленточкой тропы, которую принято было называть «народной». Вот в эти оловянные кляксы, в растоптанные и позолоченные травинки, в размокшие трещины я и смотрел.

– Хотя у меня единственный выход – взять академ и перейти на твой курс.

– Ну, и хорошо, – я поспешил с радостью (думая, что она достаточно извинительная) и округлил на Юлию нелепые и непонимающие глаза. У меня изо рта шел пустой пар. – Тебе надо постараться и добить наконец этот экзамен!

– А может, я этого совсем не хочу? – и она каким-то лебединым зигзагом подняла голову, я видел это краем сдерживающегося зрения.

– Кто же захочет четвертый раз сдавать экзамен?

– Да не смейся ты, – внезапно она стала черствой. – Это только первая пересдача.

Я немного отстал от нее, чтобы перехватить мяч в его новом бегстве, но он только отмахнулся грязным боком от моей нерасторопной пятки и припустил еще быстрее. Казалось, что со стороны поля никто не собирается его преследовать.

– Послушай, – кричал я, догоняя Юлию, – думаю, горностая ты в нашем городе найдешь. Но надо представить, как неловко было дамам совершать некоторые гигиенические телодвижения при людях. Не знаю, как художник мог усадить перед мольбертом живого горностая, но эти животные идеально быстро ловят блох. И – догадываюсь – горностая держали для того, чтобы дама могла спокойно позировать.

Она начала смеяться, но смотрела на меня с грустью. Мы были устрашающе незнакомы друг другу. Вежливая воркотня давала мне хорошие ровные силы, я собирался с мыслями, чтобы понять, как я далек от малейшей возможности начать с ней настоящий разговор. На крыльце нас легко разорвало потоком входящих студентов, и я видел сквозь дверные стекла, что не оглядываясь, каким-то длинным шагом она уплывала от меня, что она поднимает плечи и как-то особенно грациозно сутулится и именно такой она должна исчезнуть навсегда. Клетчатая длинная и теплая юбка со множеством складок по краю. И опять – когда не видно лица – расплывающийся туман волос. Я вовремя вспомнил, что могу еще покурить перед началом пары.

V

Ее лицо по-прежнему легко омывало память, протекая мимо, оно, как позолота, при мысленной попытке разглядеть его, сворачивалось в тонкие обрывки, среди которых я мог проследить остаток улыбки, краешек подбородка. Память – это густое молоко, летящее со скоростью горной речки, с таким же ледяным и шатким, только неразличимо каменистым, бродом.

Сейчас мне кажется, что трудность в запоминании дорогих лиц связана с тем, что они подвижны, что даже в памяти они изменчивы, ни улыбки, ни задумчивости нельзя как следует рассмотреть. Тогда я находил в этом верный знак неподлинной привязанности. Я жестоко и сдавленно верил, будто любимое мной лицо будет стоять перед глазами, как все вымышленные вещи, которые постепенно становятся правдой. Вот ее каштановые волосы (я только бездарный рисовальщик), – и мне необходимо разглядеть каждый их завиток (который в голове я неумело превращаю в спутанную штриховку). И все их оттенки, все особенности освещения, каждый отблеск – нет, я не видел их! Я только знал, что должен бы их видеть. По поводу неуловимой грации ее движений, которые мне хотелось копировать и отслеживать, я составил ошибочную теорию, что настоящее запоминание ее пластики должно походить на открытие особой фор-

мулы. Что бы могло служить верным лекалом? Характерное для нее настроение или невидимый рисунок определенной линии, по которой могла бы скользить ее рука или подбородок? И все-таки ее жест всегда следовал временному настроению и был душераздирающе индивидуален. В итоге я и не пытался вспомнить его...

В моей стремительно глупеющей и все обесценивающей памяти мелодия ее растянутой интонации превращалась в забавный малороссийский выговор, пленительно слабый голос сводился к птичьему писку, а ресницы я наделял такой пышной длиной, что они делали глаза кукольными.

Сначала я смеялся над своими результатами, в чем находил пользу, поскольку надеялся как-нибудь отвлечься от мыслей о Юлии и новых страданий при хилых попытках запоминания (память – наивная чахоточная). Но чаще всего мне было пусто и грустно, а эти мгновения пугают меня, мне всегда легко определить приход особого состояния безжизненной муки по тому, например, как я неспособен выбрать книгу для чтения. Я прокляну все, если скука начнет сбивать меня с ритма, если я сижу над книгой в прострации и целый день клюю носом. Я просто вызубрил для себя, что моя новая знакомая – это немногочисленный фантом, это меняющая обличье фурия, которая мучит меня за мою доверчивость.

Я все-таки ничего не понял в ней и не представлял обстоятельств ее жизни. Я все время настраивался на то, что, почуввав во мне доброго друга, она начнет наконец вести себя так, как все знакомые близко дамы – неделикатно и резко, а то еще примется с восхищением рассказывать о каком-нибудь своем избраннике, и я холодно отвернусь, не мешая ей продолжать.

Как-то, совершив этим некоторое геройство, я кинулся в университет, чтобы рассмотреть никогда прежде не посещаемого мною лектора. Это должно было произойти в 10:30, в час, может уже и не предоставленный чертям, но драконы еще только медленно убирали желтую чешую своих хвостов с моих глаз, – с глаз, все еще удивленных рассветом, встреченным мной на раскрытой книге, – в них порхали круглокрылые белянки, разбегались муравьи, или все это были лишь шатающиеся от усталости буквы. Я чувствовал себя сытым от чтения (первая встреча с «Потерпевшими кораблекрушение»), качка избыточного удовольствия превратила меня в медлительное облако, край которого бесцельно цепляется за любую цветастую и бодрящую мелочь. Наверное, невозможно доказать, что юноша, таращащий слегка воспаленные глаза на хозяйственные сумки и пролетающие под окнами троллейбуса автомобили, не очнулся от ночной попойки, а всего лишь оторвался от бессонного чтения. Носом я не клевал, и в целом это состояние казалось мне приятным, оно давало выхлопы излишней бодрости, пока не выяснилось, что на лекцию я все-таки опоздал – из-за того, видимо, что ждал транспорта с просторной кормой (мне не столько хотелось сесть на свободное место, сколько требовался воздух и пространство обзора, чтобы как следует вытарашить глаза). В мутном безделье я постарался дождаться третьей пары, но представил себя сидящим на жестком дереве в душной уже аудитории, где спинка скамьи была подъемом следующей парты с соответствующим тонким выступом в самое непримиримое место на поясице. Пока на меня не накатила сонливость, я постарался вернуться домой и деревянными, несдержанными шагами пришел на обратную остановку. Может быть, она подошла после меня (и видела сзади мой нестройный галс), может, стояла уже на остановке, и я невольно загородился от нее вкусным, слезливым зевком, и, возможно, это вообще была не Юлия, но меня полоснуло особым взглядом, которым потом она иногда смотрела. Она наклоняла голову набок и долю секунды – для взгляда такой силы не требуется больше – смотрела на меня из-под бровей и ресниц со скрытной и лучистой бодливостью. Я не мог спокойно стоять на остановке, мое тело немело постепенными накатами и откатами мышечной тягости, как будто крошечные зевки разносились кровью по ногам и спине. И я никак не мог понять, кто виноват в том, что мы с Юлией ведем себя как малоизвестные люди. Две наших встречи, конечно, не так значительно сблизили нас, как Онегина с Татьяной, но неужели мы должны ридиться по поводу первого приветствия? Если подумать, то

я решительно не представляю в наши времена такой ситуации, в которой стоило бы уклоняться от встречи методом «незнакомое лицо». Не приветствовать не слишком близкого человека нас заставляет обычное малодушие и слабое подозрение, что он сам не очень-то хочет узнавать нас сейчас. Если у нас с кем-то сложились натянутые отношения, то чаще всего нам обоим приятно откровенно уклониться от приветствия, а не топтаться в стороне, беспокояно отвлекаясь от своих мыслей, испуганно следить друг за другом. Я твердо решил подойти к Юлии хотя бы в троллейбусе. Когда троллейбус вылушил двери, я так и сделал, а потому направился в заднюю часть салона и уже в окне увидел оставшуюся на остановке Юлию, и вместо ее машущей руки передо мной бился грязный узел каната (странный атавизм тяжелого такелажа парусников).

Однажды я попал в автобус несвойственного мне маршрута и увидел Юлию, стоящую у дождевики у окна с грустным вниманием к чудесному сентябрьскому дождю. Мне не хотелось окликать ее – нечаянное детское вдохновение теперь уже заставило меня крутиться перед ней, подходить со всех сторон, делать вид, что я выхожу, чтобы посмотреть на нее с нижней ступеньки, чтобы попасть ей на глаза, а после короткой перепалки с выходящими и вытолкнувшими меня людьми возвращаться к ней с другой стороны. Я тихо трубил, надувая щеки, громко возился с зонтиком, двигал форточкой перед ее тусклым взглядом. С ее стороны это было бы слишком изощренной мезью за ту бестактность невнимания, которую я проявил на футбольном поле, когда она подошла ко мне. Юлия не изменила позы, не изменила взгляда, до тех пор, пока я окончательно не понял, что передо мной обычная двойница. Возможно даже, между ними было очень мало сходства. Через несколько минут своих стараний я понял, что никакая черта этой женщины не действует на меня так же, как складка на рукаве Юлии, как ее вздрагивающая при ходьбе сумка. И вид этих страшно остановившихся глаз не вызывал такую привычную дрожь на моем позвоночнике, и на ее губах не было глубоких бледных черточек (которые, кстати, являются моей честной победой над скрытной памятью). Меня уже во время ребячливых выкрутасов начала удивлять и тревожить новая занятность этого лица, которое казалось у подлинной Юлии таким роскошным. Здесь же были темные волоски над верхней губой, слишком заостренный нос, слишком неживые щеки. Потом она стала что-то бормотать про себя, и, когда ей пришлось выйти прямо перед моей остановкой, разминуться с двумя людьми, готовыми стать пассажирами, и грязенькой чугунной урной, я увидел движения грузного тела. Этот случай напугал меня, я показался себе сумасшедшим. Я никак не ожидал, что смогу спутать Юлию с такими образами, меня сильно заставляла надеяться вера в существование нескольких критериев вкуса, благодаря которым нам всем могут нравиться в чем-то между собой похожие особы. Я хотел быть спокоен, что если все-таки случайно подменю глазами Юлию, то это будет не менее очаровательное существо.

Однако этот случай на некоторое время помог мне в моей медленной борьбе с собой – образ двойницы поделился чем-то спасительным и комичным с тем неполным образом Юлии, которым я теперь был занят. Я начал трудиться над воспоминаниями о Юлии менее испуганно и менее печально, ее лицо расцветало живыми (чаще всего чужими) деталями: канавка на щеке (позаимствовано из мимолетного фильма), морщинки вокруг губ (досужий домысел), два белых прыщика под ноздрей (собрано сразу у нескольких моих однокурсниц) и дряблость нижних век и переносицы при частой улыбке (боюсь, эта деталь могла принадлежать только Шерстневу).

Такой она и могла бы предстать передо мной при новой подлинной встрече, когда я вдруг обнаружил ее в большой компании, в которой несколько минут курил у входа в университетский корпус. Сначала меня обожгло ее именем. И еще раз. Я, будто слабея, осмотрел всех, кто находился на крыльце или поднимался по нему, и понял, что Юлией здесь называли другую девушку – она, легкая, была в ярко-оранжевых брюках, и точность ее фигуры так же искупала редкую по тем временам яркость одежды, как правильность тонкого подбородка отвлекала от чудовищно раскрашенных губ. Я с шутливой обреченностью начал думать, что это и есть преж-

няя Юлия, что я никуда не гожусь, что мне вечно придется договариваться об опознавательных знаках при каком-нибудь свидании, но уже в счастливом браке я перестану удивляться, что передо мной каждый день появляется иная женщина.

Как вдруг ясно, узнаваемо, умиротворенно рядом с другой Юлией проявилась первая. Дым сразу лизнул меня под веком, я растер глаз до состояния досадной слезливости, кто-то под добрый и хороший хохот (и, кажется, та, другая Юлия) говорил, что мой дикий глаз немного побелел, в нем даже проступили белые прожилки, и в этот момент она (подлинная) смотрела на меня с ровной грустью, а потом улыбнулась одним краешком губы и приветливо взмахнула бровями.

Экзамен ей пересдать не удалось. Пока она оформляла академический отпуск, мы с Шерстневым дважды побывали у нее в гостях.

Была у нее шароподобная люстра, сложенная из деревянных – желтых и шоколадных – бисквитных полосок. Кресло, на котором из-за его слишком прямой спинки невозможно было сидеть. По либеральным порядкам этого дома, уважающий себя гость имел право раскладывать кресло в длину, – можно было не устанавливать окончателные ножки и разваливаться на нем, как на зимнем варианте шезлонга. Это первое, что всегда позволял себе делать Шерстнев. Такая большая кровать под окном, что мы все время оказывались на ней с ногами среди по-разному вышитых и по-разному мягких подушек (ворс из черных и белых квадратов или цветные искры абстрактного гобелена).

Удивительная скромность библиотеки – одни только издания, которые нам рекомендовали на первом курсе и которые помещались на двух этажах одной полочки вместе с тетрадками, фарфоровой куколкой, пластиковой веточкой в кувшинчике с псевдокитайскими журавлями.

Был папа – отставной моряк с грустными глазами отставного клоуна и естественного происхождения красным набалдашником на носу (человек категорически непьющий, и, несмотря на бескрайнюю приветливость, он холодно устранился от человека, слегка надушенного алкоголем). Была добрая мама. Иногда появлялась старшая сестра Александра – с повадками дамы, растолстевшей в отместку за то, что никто не замечает ее невероятной красоты. Гостю радовалась юная Джема – дымчато-серябряная костлявая догиня, способная безвольным коготком рудиментарного пальца разодрать в кровь запястье незнакомца (окольное проявление охранных качеств). И, думая залечить ранку, она тут же распускала вокруг нее едкие и клейкие слюни.

В комнате Юлии висел детский рисунок, помещенный в тонкую медную рамочку под тщательно протертое, слепящее с трех часов дня стекло. «Эта принцесса – Юля. 6 лет». Вторая «с» зачем-то была подрисована в более позднее время, – заметна новая твердость руки художницы, подправившей, между прочим, тем же карандашом выражение глаз и симметрию фигуры.

Сначала я думал, что образ Юлии как-то соберется у меня в голове, склеится и заживет, особенно после того, как я изучу историю ее лица по домашним альбомам. Но к чести ее дома следует сказать, что здесь не было принято донимать гостей семейным собранием фотографий.

Я вошел в ватное облако недоумения, потому что, не видя Юлии, терялся во всем, что мне приходилось делать и видеть, и ее облик медленно выдувало из головы, так что мне трудно было связать именно с ней свое житейское расстройство. Но стоило оказаться у нее в гостях, в каких-то вольных гостеприимных мирах, рассчитанных на людные сборища, я тут же успокаивался, я наслаждался собственным уютом, кривлялся и отдыхал, а иногда – положив тетрадку на табуретку и сев на пол – успевал выполнить какие-нибудь слишком уж обязательные университетские задания.

В городе после летних каникул должен был открыться кинотеатр «Икар», где показывали старые шедевры. Мы втроем часто бродили по городу, и Шерстнев читал нам свои стихи.

Не в состоянии понять его торжественной монотонности, я привык думать, что это стихи о потускневшей истертой листве, о ветках, прочерченных по вечерней голубизне неба, о холодном ощупывании ветра, о невероятном спокойствии в присутствии дорогих людей, о невольной важности неопределенного и пустого времени, о нахождении чего-то бесценного здесь же (и даже в доступных измерениях). Иногда Шерстнев и Юлия смеялись после прозвучавших стихов, и я, стараясь быть вежливым, кивал головой: мне очень не хотелось, чтобы Шерстневу открылась полная лирическая глухота двух – самых верных и самых внимательных из обычно слушающих его – ушей.

Но Юлия смеялась:

– Ты, Шерстнев, рискуешь своими полными собраниями сочинений. Их будут выпускать с пустыми страницами. Одни непристойные намеки, даже в библейских цитатах. Ради чего?

– Да, они там есть. Так и работает язык сам по себе. Все-таки в последнем стихотворении, Юличка, я намекаю только на то, что неплохо бы нам с Марком начать квасить в твоём присутствии. Времена пошли холодные.

– Я не поняла так буквально... Вы попейте, конечно, – с детской рассеянной ясностью разрешила Юлия, доставая свою тоненькую сигаретку. – Только как это сделать? Или вы носите с собой стаканы?

Шерстнев сделал мне мгновенный знак, чтобы я перестал демонстрировать горловое бульканье. Выдыхающая бледный синеватый дым Юлия не успела посмотреть на меня и, очевидно, подумала, что стаканы используются мужчинами только по одному быстрому и жадному разу.

– Я где-то видела, как продают стаканы из пластмассы. А может, вы обычно сидите в кафе? Дым, музыка, литературный спор. У нас где-нибудь есть кафе?

Мы с Шерстневым решительно не знали ни одного кафе в городе, и одноразовая посуда в те времена была дорогой редкостью. Курила Юлия не часто, длинной коробочки ее недешевых сигарет хватало на несколько недель. Успевали затереться и измяться края.

У Шерстнева давно появилось плоское желание совместить свои романтические привычки с уютом Юлиной комнаты. Минуя словоохотливую мать Юлии и ее наблюдательного отца, он уже не раз проносил с собой, не обнаруживая этого, пару бутылочек портвейна – пару, потому что знал, что в населенной квартире кого-нибудь придется угостить, а еще потому, что именно пара давала глухой призывный гонг, когда Шерстнев с показной осторожностью ставил сумку рядом с креслом, которое собирался раскладывать. Стоило Юлии разгадать этот музыкальный эффект, она бы сама немедленно принесла стаканы. Конечно, поэту требовалось домашнее тепло, а не посуда.

Меня тепло поражало то, что поэзию можно терпеливо использовать для распускания нечестных смыслов, то есть что у нее возможны забавные утилитарные цели. Уже в следующий раз, когда разыгралось настойчивое звяканье в сумке, Юлия улыбнулась и тут же попросила попробовать то, что в ней находится. Несмотря на предубеждения отца, ей разрешались взрослые напитки, – только, возможно, легче и яснее тех, что носил с собой Шерстнев. Она оставила свою чашку при себе на весь вечер.

Мне было жалко распространять у Юлии неприятные ароматы, которые, впрочем, в тот вечер были уже более цветочными и сахарными. Хорошего вина невозможно было достать, или Шерстнев не сильно к этому стремился, тратясь только на кустарный портвейн. По пути к туалету я встретил Юлиного отца. Он охотно начал разговор, но принялся и сразу растерянно оборвал его. Другое дело – Шерстнев, который болтливо прогулялся по квартире передо мной и от которого никогда не пахло в момент питья. Тяжелые ядовитые запахи он распространял только по утрам.

В тот вечер я загрустил. Шерстнев угощал вином так, будто сам его произвел. Он слишком вступался за неподдельное благородство жидкости, но, много ее глотая, кропотливо мор-

щился. Впервые я потреблял приторную шерстневку в тепле. Мутные мои глаза неизменно скачивались на Юлию. И было неудобно. Выпитый переслащенный яд превращался в едкое масло, каким Психея пометила нелюдимого мужа. Меня корили за молчаливость, несколько мгновений – отвлекаясь от разговора – Юлия в задумчивом удивлении разглядывала мое лицо. Все казалось неправильным ровно настолько, чтобы проснуться утром и отрешиться от несбыточных заблуждений. Я отступал от Юлии в хаос и начинал особенно сильно бояться, что ложно все, все. Что я никак не связан с Юлией ни крепким знакомством, ни тем более чувством: раз нет надежной памяти, то мое внимание к ней выдумывается здесь же на месте.

Она подсвечивалась изнутри, даже ее домашняя кофточка сияла каждой желтой косичкой. Юлина комната изучалась будто впервые. И верно, мало было в ней истинно знакомого. Одни ее глаза. Угол письменного стола был разбит в опилки. Настольная лампа была окрашена в особый интенсивно-красный цвет, какой бывает только на боках трамваев. При всем моем доверии к Шерстневу, при всем его мудром влиянии, я всего лишь напился, и меня уныло мутило в присутствии богини.

VI

Яша, тонкий и статный философ, неизменно перемещался походкой замедленного раздумьями скорохода, заложив руки за спину.

– Когда уделяешь внимание мелочам, теряешь способность к большим делам. Мысль в духе твоего любимого Монтеня, которого ты мне читал по блокноту! Только даже очень большие дела бывают бессмысленны.

Он был далек от насмешек и никогда не разоблачал чужих пристрастий. Я увлекался Монтенем в то время, когда мы и познакомились, оказавшись как ученики из параллельных классов в одном трудовом лагере. Я предложил ему разделить игру в шахматы, когда в очередной раз нашел его в заброшенном и никем не посещаемом месте, за маленькой постройкой среди боярышника. Это был уродливый бетонный треугольник с дверью, в которую нельзя было бы войти, если бы за ней не открывался спуск в кухонный погреб, пахнувший сырыми картофельными побегам. Но среди колючек боярышника в трехмерной, но все-таки шахматной расстановке тени, зелени и света я видел его склоненным над одинокой партией; его крестнакрест сцепленные руки опирались на хороший алюминиевый столик, сбежавший из столовой и попадавший на глаза только любящим уединение мыслителям.

Наша дружба расстроила мои планы забираться с книжкой подальше от полевых автобусов. Мы совершали совместные прогулки, и у него было множество хороших научных знаний и настоящая страсть к выработыванию суждений, что значительно обогатило меня (я так и не взялся с того лета за наспех схваченный «Собор Парижской Богоматери»). Я тоже привык сцеплять руки за спиной, а в ответ научил Яшу безопасно покидать бесплодную землю лагеря, так что наши беседы стали складываться в духе юных немецких романтиков на вертких тропках среди желтых берез и мошек, на стареньком просторном кладбище, на свежих лугах среди коровьих проплешин и мокрых стогов. Он всегда был уравновешен и снисходителен и только заводил руки за спину, когда я жевал травинку, или собирал дикие яблоки, сосредоточенно забирался на трудное дерево, или, оказавшись на рабочем поле, подбрасывал грязные ящики, стараясь проломить их в воздухе ударом ноги в резиновом сапоге, от которого тут же в стороны разлетались пласты натоптанной за утро мягкой керамики. Когда наша лагерная верховодница, обычно очень умиленная нашим интеллигентным товариществом, бросилась ко мне с упреками в идиотизме, – ведь я портил колхозное имущество, а наполнение целого ящика колючими огурцами приносило нашему отряду целое очко, – Яша остановил ее своим хладнокровием:

– В данном случае это только избавление от избытка.

– Вам бы лучше в шахматы играть, – ответила учительница, безутешно склоняясь над исколеченными ящиками, – а вы все драться хотите, как простые мальчишки.

– Очевидно, представления о единоборствах взяты из плохого кино, – предположил Яша, пока объект обсуждения и не думал уходить. – Я покажу несколько упражнений, разработанных русской интеллигенцией в прошлом веке для того, чтобы бесконечно развивать силу рук и пальцев, без всяких побочных средств, одним только взаимным противоборством между правой и левой рукой. Отдельные эстетические моменты сельского труда тоже годятся для этой цели, но, к сожалению, – не торопливый сбор овощей.

Когда учительница поставила к его ногам целенький ящик, выбранный из неловко обработанной мною горки рухляди, Яша слишком быстро, чтобы это можно было рассмотреть, разнес этот ящик вялой раскрытой ладонью и тут же, вытянувшись, спокойно заложил руки за спину. Он так и не разомкнул рук, пока нас на следующий день вывозили из лагеря, всего лишь отобрав наши заработанные копейки на восстановление колхоза, и к моему полному неверящему восторгу нас высадили в знакомом школьном дворе, и оставшуюся блаженную часть лета мы проводили в темном кабинете Яшиного отца за раскрашенными шахматами, вырезанными из сандалового дерева, такими огромными, что у белого короля, с руками за спиной поверх мантии, были видны морщинки у глаз и горностаевые выступы, намеченные черными мазками, а кони, соответствуя пропорциям окрестных фигурок, были полноценными вставшими на дыбы копиями клодтового шедевра.

У нас не получилось ровно разыграть шахматы, я слишком терялся при виде этих роскошных игрушек. Безволосую и безбровую голову белой королевы венчала яйцеобразная тиара в форме пчелиного гнезда с пышным и достаточно тонким для дерева покровом, а ее платье прямо из-под груди рассыпалось на широкие складки с лазурными вставками. Ладья представляла собой квадратную осадную башню, а на пешках были красные длинноносые пигоши. Вся сторона черных была оскаленной армией свирепых сарацинов с маленькими луками у пешек и широкими саблями в руках у знатных воинов (эти сабли хорошо избегали поломок, потому что удачно примыкали к ноге или плечу экспрессивной фигурки). Слоны в обеих партиях были превращены в слугителей двух церквей, мул и епископов в митрах с помпонами.

Не в силах спрятать эту огромную труппу в коробку, мы разыграли на шахматной доске нашу с Яшей пьесу из времен Львиного Сердца. Здесь были измены, покушения на жизнь монархов, предательство слуг, царственное равнодушие королей. Встречаясь изо дня в день, мы выдумывали новые детали и, в двух чертах обведя будущее действие, наутро сбивали замысел лавиной импровизаций.

Когда по поручению епископа Кентерберийского один из вельмож обратился к черни с призывом немедленно отправиться в крестовый поход, над сценой внезапно зазвучал холодный Яшин голос:

*Не правда ли что скажу, не так ли?
Зови же герольд в свой срок –
И белую розу горячей пакли
Каждому на чулок!*

Он передал мне маленький свиток (золотистая фольга от конфеты) и комочек жеваной жвачки. Я недоумевал, что с ними делать.

А если епископ Падуанский

*Флажки отметит крестом,
Скажи ему, Леопард итальянский,
Что золото помнит о нем,*

*Иначе висельники и ведьмы,
Чьим пурпуром речи пестры,
Давно бы под грай тех, кто чист и беден,
Залили мочой костры.*

Я положил жвачку на краешек стола, потом опять взял. Яша нахмурился. Стол был заставлен благородными шахматами, замковыми декорациями из бумаги и конструктора, пластилиновыми человечками, обернутыми в полиэтилен и цветную бумагу, которые вместе с солдатиками из других эпох составляли драматическую массовку.

*Довольно, оборванный сгусток срани,
Пред еретиком греть зады!
Есть тело, что к вам опускает длани,
Как в чашу святой воды.*

Какое-то время Яша следил за всеми стадиями моей потерянности и равнодушно спросил:

– Ты верующий?

Я пожал плечами и боязливо попросил его больше не вводить в текст нашей пьесы стихов.

– Конечно, здесь есть богохульная вольность, – продолжал Яша, направляясь к книжной полке, – особенно в рифмовке грубых и сакральных слов. Но я готов показать тебе более страшные вещи из средневековых реалий и даже поэм. К большому сожалению, не приходится рассчитывать на адекватный перевод, и я смогу предложить тебе только отдельные цитаты.

Я смущенно любовался разноязычными изданиями Вийона, дореволюционными брошюрами о лексике труверов, роскошью каких-то торжественно-фривольных и до целомудренности мелких гравюр.

– Вот это слово в стихотворной подписи встречается чаще остальных. Оно означает «женский половой...»

– Яша, – я уже был в отчаянии и должен был признаваться, – я не умею понимать стихи.

– Какой-то юношеский комплекс? – строго спросил мой ледяной наставник. – Смотри, какая это красота из «Большого завещания»: «*Телеса женичины, которые столь нежны, бледны, свежи и утонченны, живыми переходят на небеса*». Понимаешь?

– Только потому, что ты произнес это прозой!

Впоследствии он стал целеустремленно выведывать у меня, не считаю ли я прозой сглаживание чувственной остроты, не думаю ли я, что поэзия – чересчур откровенное для чутких настроений искусство. Не кажется ли мне странным, что обостряется в стихах именно абстрактное и чужеродное. Больше всего его удивляло, что я, как напуганный туземец, слишком уж боюсь табуированной границы между стихотворным словом и прозаическим.

– Что выключает в тебе понимание? Рифма, инверсия, ритм? – Но я только что произнес семь стоп дактиля, и ты понял меня. Может, тебе просто не следует знать, что ты имеешь дело со стихами? Думай, что все это одна сторона человеческой речи.

Он даже стал жертвовать другими темами в общении со мной. Мы теперь чаще выходили на улицу и в итоге встречались только во время прогулок, и тогда он неизменно пытался настро-

ить мой слух на восприятие поэзии, разбирая каждую строчку, пересказывая стихотворный текст намеренно неуклюжим языком. Когда впоследствии мне начали встречаться его любимые авторы, я проявлял сносное понимание их творений. Но они редко теперь попадают, это был не Серебряный век, другая система ювелирной оценки.

«Мое грустное сердце выворачивает наизнанку с кормы корабля. Сердце мое затягивает едким табачным дымом. Они поливают его фонтанами супа, мое грустное сердце, блюющее на корме. Под остроты толпы, которая смеется сообща, мое грустное сердце рвет с кормы, сердце мое окутано дымом».

– Я понимаю, – убеждал я Яшу. – Только это все равно сильно похоже на стихи. Особенно за счет повторов, которые, как я чувствую, ты стараешься сгладить. Я все равно теряю нить при каждом новом повторе. Мне он видится бессмысленным. Вся информативная сторона этого стихотворения только в том, что кто-то в силу своей одинокой чувствительности подвергается издевательствам толпы. Бр-р-р! Суп здесь какой-то тюремный, корма похожа на русское «судно», точнее на отхожее место в камере.

– Герой, конечно, вполне мог набраться этих впечатлений и у параши, или на корабле в качестве погоняемого всеми юнги, – железным и приглушенным голосом говорил Яша. – Представляешь условия, в которые попадает один-единственный мальчик перед несколькими десятками бывалых моряков? Но поэт всего лишь побывал в казарме с солдатами Парижской коммуны. Вот так это звучит в мелодичном оригинале, – Яша говорил это со спокойной улыбкой:

*Мое печальное сердце рвет с кормы.
Мое сердце окутано едким дымом.
Нацеленные в него их фонтаны жирны,
Мое печальное сердце рвет с кормы
Под издевательства толпы,
Которая смеется всем миром,
Мое печальное сердце рвет с кормы,
Мое сердце окутано едким дымом!*

В этом песенном триолете ты уже должен различать знакомые слова после того, как мы разобрали мой грубый подстрочник!

Знакомые мне слова встречались, конечно, но любая ритмическая расстановка срывала с них смысл. Мое сердце не тонуло и оставалось сухим в волнах пугающей абракадабры.

– Послушай, – иногда продолжал Яша. – *«Вот уж далек я от того, чтобы ценить взбунтовавшееся удовольствие, страсть, вспышки сумасшествия, завывания юной одалиски, которая, извиваясь, словно кобра, в моих руках, внезапными жгучими прикосновениями и ожогами поцелуев заставляет поспешить наступление окончательной дрожи».*

– Не представляю, – со смущением признался я, – чтобы это можно было привести в соответствие с метрическим строем, хотя бы по-русски.

– Можно, можно, – обещал невозмутимый Яша. – Когда-нибудь ты почувствуешь это!

Он поступил на философский факультет моего же вуза. Меня слишком привлекла возможность скромно продолжать свое обычное безоглядное чтение, называя это слишком уж сладкое для меня занятие учебой. Признаться, даже в голову не пришло, что гуманитарное образование может быть иным. Философы размещались в другом корпусе, и с начала студенческой вольности я редко видел Яшу, библиотечного труженика, не выносящего табачного дыма и моего нового вкуса к простонародным скабрёзностям. Было заметно, что он терял интерес ко

мне и вместо дружеской и иронической работы над моей ленью и отрешенностью предпочитал безжалостный уход вперед.

VII

С той осени – вдохновленной нежным и издевательским кинематографом – я попал в великое множество возвышенных или глупых состояний, переживал обездвиживающую радость открытия или бег настойчивой наивности. Начиная с той осени со мной случилась разбегающаяся череда волшебных сезонов, способных вобрать в себя и оглуленное жарой лето, и ясное начало зимы. Откуда брались краски для этого времени, и что трудилось в воображении, чтобы украсить самую невзрачную дату золотым флероном? Небо оказывалось вскрытым, как брюшная полость, рассеченная крест-накрест. Отвернутые в стороны скользкие края – за них цепляются младенческие ангелочки, такие же рядом скучающими ручками опираются на облака, а иные почти уже серьезно сцепились, обмениваются мягкими пинками и краснеют. Эта непутевая возня упитанных путти обычно и отвлекает от того, чтобы заглядывать в те анатомические отвороты сиятельных небес.

Годаровский октябрь – легкомысленно просмотренный вместе с несколькими фильмами – остался работать потом в сознании, как маленькая фабрика, производящая счастье, ясность. Эти фильмы нельзя было пересказывать, поэтому необходимость помнить их не рассеивала моего внимания.

Маоистский бред Годара не требовал нашего понимания, он растворялся в ясности и подменялся хрустом еще очень больших и теплых листьев. Казалось, что вся ценность икартовых картин мельтешит только для того, чтобы дать нам встретиться у крыльца кинотеатра, а потом мы втроем догуливали до ее дома, посидев вместе в темноте – когда я постоянно косился на ее попеременно мерцающие волосы и глаза с переключающимся блеском, а за ее профилем белой дрожью освещался лоб Шерстнева.

Ничего из увиденного мы потом не обсуждали. Тут я даже не боюсь чего-нибудь не вспомнить. Перед фильмом неизменно звучала удачная лекция Мальдаренко, он был в расцвете своего ораторского самолюбования, встряхивал волнистой соломой, вытягивал тощую шею, а самым загадочным жестом – доказательством его интеллектуальной магии – была внезапно возникающая улыбка: она вспыхивала не на шутке, а на удачной фразе, и поэтому медленно тускнела, – лектор уводил лицо в сторону из-под своей улыбки, произнося при этом протяженное и несколько кукольное «во-о-о-т!».

Но сейчас ритмы Годара, его уводящие вспять неожиданности начали обнаруживать себя. Будто мысли, пущенные по возникшим ответвлениям лабиринта, – крошки, оторванные от гудящего, работающего ради Юлии разума, – все разом вернулись и нанесли столько переживаний и откровений, сколько не могло вместиться в то настороженное время, а теперь ему приходится пухнуть и укладываться неравновеликими этажами. Нет, разумеется, дело здесь не в памяти. Я что-то получил помимо нее. Годар протягивал вещи, которые надо было видеть вне времени, вне связи между собой, но с постоянным озабочиванием ими зрительного внимания. Что-то не то сквозит в ученой одышке и твердолобости, какая-то шарлатанская натужность. Настоящая интеллектуальная работа проста и расслаблена.

Ничего лишнего, и все случайно: кристальное состояние. Оставалось только следить за движением. – Узоры, по которым выстраивается беготня никого не повторяющих героев, которые слишком стремительны, чтобы попасть на плакат. – Иногда выстрел, иногда слеза. – Но за внятным шипением метлы, метущей листья, слышны бессвязные фразы, которые сами себя мыслят и, один раз услышанные, не умолкают. – Голос Юлии, окрашивающий все, к чему он относился, а она любила оживить легким замечанием пропущенное мимо дерево, сухой лист, дверь подъезда. – Интересно все, что вытягивается второй цепочкой, что подплетается цветной

путаницей к нужной нити. Как и истории у Годара, это не последовательные воспоминания, это – настоящее время жизни.

Та осень подчеркнула что-то, что было моим задержанным, как дыхание, подозрением. Представим тайного паралитика: врожденный недуг, но он остался на ногах, ходит среди двуногих, – не очень крепко, чуть замедленно, но ходит. Как это ему удастся, для него самого – тайное удивление. Помощь воздушного подпорья. Полет, имитирующий ходьбу, о котором нет никаких сведений в книгах, и об этом лучше не думать: вдруг пропадет! – Я слишком ловко все время имитировал память (всегда сходило с рук, – у тех, кто помнит, все равно нет четких примет настоящей памяти, какая витает в быту), мне уже приходилось думать о каком-то обходном приеме сознания. Увиденное в ту осень – подставленные вместо легенды о Гвиневере сочинения Годара, которые мы так же с моей Франческой, бок о бок, изучали, – подсказало мне, как устроен мой способ спасения. Но об этом больше нельзя, наверное.

Мне столько хочется восстановить, ведь я с этим нянчусь впервые. А если для себя мне и удастся нарисовать иероглиф, по которому, не имея памяти, я воскрешаю прошлое, то как его объяснить? Не смахнет ли разом все – и то, как зовут? В голове – только бледный, качающийся паутинчатый набросок, который оборвется, если извлечь его для досужей демонстрации. Эту тонкую сеть – не случайный опыт, ведь я живу с ее подмогой! – одну удастся мне высвободить из плотной плоти прожитого, я последовательно думаю по линиям этого рисунка, но ничего не помню. Хочу, очень хочу как-нибудь (если даже и впаду потом в прострацию) к этому вернуться. Но только когда завершу рисунок.

Когда Юлия пригласила нас на свой день рождения, мы выходили из парадного стекла «Икара», сразу попав в гущу зонтов и табачного марева. Она начала без предисловий, без разгона из «кстати» или «вот еще что». Приближающаяся дата не вызывала у нее мук безволия, из-за которых люди обволакивают традиционные события своей биографии вялой пудрой трагичности. Шерстнев сунул мне сигарету, оба края которой топорщились табачными лентами. На крыльце шумно копилась недавняя зрителья, для которых главная радость вечера не была еще достигнута, и не знаю, достигалась ли она после нескольких десятков минут ироничных переговоров с приятелями, бутылочки вина в соседнем сквере или замусоренного семечками ганджубаса. Шерстнев отказался идти с нами под Юлиным по-детски малиновым зонтом с крупными желтоватыми шишечками, но спрятал руки в высокие карманы куртки, почти под мышки, и опустил голову, морщась оттого, что капли разбивались о нос. Впрочем в любую погоду он так морщился, было видно, что первые морщины отложатся у него там, где у обычных людей их никогда не бывает, – на стенках носа.

Я был ошарашен тем, что открылся еще один этаж нашего знакомства, что есть еще дни рождения и мы можем справлять их вместе. Видимо, каждая наша будничная встреча могла еще казаться случайной. До праздника оставалось несколько таких же дождливых дней.

Юлия только что обратила внимание на особое свойство фамилии Мальдаренко, ставящего себя введением к Годару и много чего ухитрившегося донести до нас, несмотря на тон гастролирующего виртуоза.

– Смотрите, ведь это редкая фамилия для наших мест. С корня «маль» начинаются имена вражеских вельмож в средневековых романах. Марк, ты читаешь уже «Песнь о Роланде»?

Шерстнев глубоко кивнул вместо меня.

– Тебе это надо по программе, – продолжала Юлия. – Там есть всякие Мальфероны, Маласпины, Мальлеоны и прочие славные «мальки». Кстати, какое это топорное свойство – называть персонажей с одинаковым зачином. Впрочем все они, если я правильно помню, сарацины.

– Мальбруктоже реализовал себя на военном поприще, – вставил Шерстнев.

– Если его имя начинается со слога «маль», он – враг и должен быть заодно с сарацинами. А что это значит, Марк? – спросила Юлия.

– Зло, – ответил счастливец.

– Ну, не думаю, что нашего киношного лектора и находящегося в тени его славы коллегу Ткемалева можно причислить к стану врагов, – усомнилась Юлия.

– Изредка, – настаивал Шерстнев, – они говорят что-то мало-мальски путное.

– И ничего, с чем мы принципиально не согласны! И вот что, Марк, как твоя племянница называет тебя, пока не научилась говорить «эр»? Чем она заменяет трудный звук? У нее получается «Мак» или «Мальк», как у всех мелких детей, злоупотребляющих смягчением согласных?

– Моя племянница называет меня Май. Это осталось еще с тех времен, когда она только только начала говорить. А ты прямо-таки получаешь удовольствие от занятий фонетикой.

– Мне это всегда нравилось, – Юлия решительно посмотрела на меня, морщась. – Как-то у тебя это получилось нетактично!

– А как нам быть с Мальвиной? – усмехнулся Шерстнев. – Выходит, плохая она девочка и красит волосы в депрессивный цвет.

– Стоит ли проходиться по детским кумирам? – ответила довольная собой педантка. – Май, ты не знаешь кого-нибудь, чья враждебность к нам до сих пор не оглашалась?

– Знаю, – ответил я, и эта мысль уже несколько минут вертелась у меня в голове. – Есть один французский поэт, чье имя намекает на хотя бы один созданный им венок сонетов.

– Я запрещаю трогать Малларме! – она даже отвела от моей головы зонтик и удивленно рассмотрела мою взворававшую на дождь сигарету. – Нежный и невинный Малларме, четырехкратный певец лазури. Он не может быть врагом, просто никак. К тому же поэтам такого уровня совсем ни к чему баловаться формальным плетением, у него каждый сонет стоит книги.

Шерстнев, улыбаясь и воспламеняя следующую сигарету, бросил в нашу сторону (а спичку в другую):

– Толстому он не нравился как пример деградации. А я бы и Мальдорора оставил вне подозрений!

– Это да, – согласился я. – Тулуз Лотреамон мог бы оказаться карликом для европейской культуры, но вместо этого выпестовал из себя настоящего демона в своем «зловобном золоте».

– Неточность: скорее, речь должна идти о золотом зле.

– О дважды золотом, – ответил я.

– Юлия, – заметил Шерстнев, – ты похожа на совсем уже распоясавшуюся актрису мало-бюджетной ленты для непривередливых интеллектуалов.

Мне стало досадно из-за того, что Юлия защищает самых недоступных для меня поэтов. Однако Лотреамон, как и вся плеяда французов, сразу выведивших стихотворение из поэтической формы в систему внятного для меня текста, признаюсь, оказались в свое время большим подарком, так как некоторые их стихи были написаны грандиозной взвинченной прозой. Да и смерть Пенюльтемы впоследствии добавила белого траура к моему горячему чтению. Прочитать бы все, нарифмованное человечеством, в хорошем переложении одаренного лекаря. Ведь кто-то должен быть занят недугами, подобными моему. Не могу же я быть полностью одинок в своей слепоте перед каждым встречным стихотворением!

С того момента ожидание драгоценной даты горячило настолько, так воспаляло на холоде, что я испугался оказаться к назначенному дню простуженным. Я нашел свой плотный шерстяной шарф, которым оказался наполнен рукав зимнего пуховика, он должен был охранять меня, но так кусал и запаривал еще летнюю, еще загорелую шею, что вскоре у меня действительно начало саднить в горле. И часто я спохватывался, что следовало бы придумать хороший подарок, но тут же соскальзывал с этой темы на воображение очарованного праздника. Я смотрел в вечернее окно троллейбуса с моей собственной цветной тенью или в огромные цветы на моей кухонной клеенке, выправленные из-под тарелки, кусочка хлеба и его крошек, и невольно видел низкий журнальный столик в Юлиной комнате, большущий белый торт,

Юлиных родителей и сестру Александру, себя и задумчивого Шерстнева, и в этой сцене все было взвешено с каким-то тончайшим искусством, возможным только в случае реальности. Процентное вычисление густоты света, температура комнаты, острое чувство существования – такой силы, что, когда что-нибудь внезапно выводило из него (рука кондуктора, лягз дверей, стук ложки, крики по радио, ворчание будильника), я сразу чувствовал кожей, что нахожусь в другом, неудобном и холодном пространстве.

Я доходил до того, что начал воображать обрывки разговоров. Мой постоянный сон фамильярно заменял теперь мое подлинное бытие, втягивал меня в целые диалоги. Я разговаривал с ее родителями в течение очередной лекции. Я медленно поедал праздничный торт, пока на самом деле недвижно дремал в ванной, и, когда я показывал сезонку в троллейбусе, Юлия протягивала мне новое блюдо с хорошим кусочком. Мне удавалось что-то такое ценное выяснить у Шерстнева, с которым я курил на Юлином балконе, замечая, что Шерстнев с черной шелковой бабочкой под подбородком и в интересной рубашке, с матовой вышивкой или жабо. А еще я постоянно поздравлял Юлию, дарил ей меховых осликов, большие фотографии (пристань в Австрии или ночной океан), высокие глиняные подсвечники и светильники в виде летучего голландца или пеликана. Еще я, пользуясь праздником и нашей интимной радостью, что-то ухитрялся объяснить Юлии из того, в чем себе не смел еще признаться. С таким беспокойством и завистью некто невидимый и изумленный, недовольно качая головой, прислушивается к разговору своего же посланника с адресатом.

В назначенный день я рано улегся в ванну и досмотрел кусочек праздника – немного вялого и рассеянного, потому что с утра энергия фантазии уже стала уступать подлинной дате. Я не придавал этому значения, рассчитывая внимательно проживать этот день, следя за его значительностью с самого момента пробуждения. Воображение уже несколько мешалось. Внезапно у меня свело скулы: подарок! Я выдернул пробку со дна ванны и наспех помылся. Утреннее удовольствие уже было утрачено. Куда мне бежать? И я был не способен вспомнить никакого пристойного подарка, какие с такой легкостью изобретал в последние дни. Все они оказывались неосуществимыми или глупыми. И как это воображаемая именинница могла им радоваться?

Мне пришло в голову поехать в центр города. День был воскресный, и каждый из намеченных магазинов оказывался закрытым. Для праздничного дня я чувствовал себя слишком усталым, поздно заснул вчера и непривычно рано вскочил утром, и вот сейчас последние душевные силы потерял в бессмысленных страхах из-за подарка.

С улицы я позвонил домой Шерстневу. Глухой отсутствующий голос разбуженного человека. Недовольного (стихи писали всю ночь). Я спросил его, что он собирается дарить Юлии, и Шерстнев был не слишком добрым, чтобы брать меня в долю к своему подарку. «Но я же не успеваю ничего купить. Магазины закрыты». «А куда ты торопишься?» – спросил Шерстнев, и голос его неожиданно потеплел. Он даже засмеялся. «До праздника остается очень мало времени. Что же мне делать, Шерстнев? Выбрать какую-нибудь книжку из своей библиотеки? Что ты думаешь, какой она обрадуется?» «Выбирай, конечно. Какая разница. Я тоже скоро поеду в „Академкнигу“».

«Шерстнев, – мне хотелось вывести его из сна и добиться от него какой-нибудь помощи, – праздник очень важный для нас, ты понимаешь...» «Обычный». «Давай-ка я приеду к тебе, и мы вместе что-нибудь подберем». «Нет, не давай, – бормотал Шерстнев, – я буду еще долго спать. У меня был... грустный день вчера». «Уже поздно спать. Нам нужен подарок, мы же не явимся с пустыми руками». «У нас, Марк, есть целая неделя, чтобы эти руки заполнить...» Долгий зевок.

Оказалось, что не только праздник был перенесен на неделю, но и сам день рождения Юлии терялся где-то в наступающих буднях. Это был повод лучше оповестить гостей, а предупредить меня никто не подумал. «Шерстнев, она поручила тебе предупредить меня?» «Да,

да, поручила, – ворчал Шерстнев, – я был очень занят, ты же знаешь». «Ладно. Все хорошо. Ты даже не представляешь, как я настраивался на сегодня. Ждать еще целую неделю...» «Ерунда!» – поспешные телефонные гудки.

Шерстнев мог и добросердечно соврать, и Юлина забота обо мне становилась совсем иллюзорной. Не будет же она специально заботиться обо мне только потому, что я друг ее бывшего однокурсника и несколько раз появлялся у нее в гостях. Страшно подумать, и приглашение на праздник я, кажется, получил от него же. Мои допраздничные фантазии показались мне невыносимо глупыми, я откатывался за кулисы. Провинциальный актер, приглашенный на роль Хлестакова в областной город, где по прибытии ему сообщается, что он иногда будет подменять Землянику и Гильденстерна.

Я так и знал. Сколько раз подобное происходило. Однажды родители положили передо мной приглашение на самую волшебную детскую елку, с которой попавшие туда счастливики обычно уносили непомерной величины подарки (минимум стеклянных конфет и целых две больших шоколадных плитки), а у Деда Мороза был очень натуральный реквизит, за чем я обычно внимательно следил – и матовая борода с одинаковыми завитками, и той же материи брови, и по-настоящему тяжелый посох, и золотая коса у Снегурочки. Я прогресил об этом празднике все время, пока переваливал рубеж между годами, сидел на подоконнике и упражнял воображение, не чувствуя запаха мандаринов и маринованных грибов в комнате. И совсем не удивился, когда утром указанного дня, на второй неделе наступившего года, мама положила мне легкую и еле теплую руку на лоб и сказала, чтобы я не вылезал из постели. Я так боялся потерять нагроможденные за последнее время навыки воссоздания чудесных обещаний, что снова отчетливо увидел гигантскую елку, сказочные костюмы и по-настоящему обреченно расплакался. Днем отец сходил за подарком, который выдавался по моему неиспользованному приглашению, и это опять довело меня до слез. Почему-то раньше казалось, что выстаиваешь елку только ради подарка. Невкусно!

Потом я следил за собой, я убеждал себя, что скучно осуществлять то, что предсказано и почувствовано заранее. Необходимо было перестать видеть мысленные картинки, запретить своеволие фантазии. Но, оказывается, сковать воображение намного сложнее, чем заставить его работать деловитым, натужным усилием. И теперь меня снова не подводил детский опыт.

Когда о чем-то слишком отчетливо мечтаешь, – при условии, что эта тема скромна в сущности и не стоит и половины отданных усилий, – побежденная явь постепенно тускнеет и не сбывается. Бывает так, что мечта слегка отступает, и ее сияющую и зудящую тайну подхватывает реальность и равнодушно разрешает невозможное, неправдоподобное осуществление. Но если жажда цепкая и сильная, как ревность или зависть, она дает тайне раскрыться. Самые удивительные страсти – раскаляющиеся внутри себя – выходят на свет неловко и искаженно. Мир ничего не весит без мечты, но она особенно сильна, когда чуть-чуть отстает, когда отвлекается от себя самой, когда оживленно смотрит вокруг себя и примеривается к какому-то радужному скользящему краю. Вот только сквозь радугу и стоит посмотреть на реальное положение вещей.

Разве я не знаю, как страшно бывает, когда задуманному не даруется свобода? И еще так позорно – быть циничным предсказателем. Возможно, это чисто творческие благородные страхи! Но я уже навоображал все, и больше всего. Даже если бы Юлин праздник состоялся в тот же день, на который был назначен, после своих незаконных предвидений я должен был бы не пойти на него!

Я шел по пустынному отсыпающемуся городу. Отказался от автобуса и выяснил в итоге, что от центра города до моего дома – только двадцать семь минут удрученной ходьбы. «Невесел – повесил», – вспомнилось что-то из детской программы. Каким же бирюлькам в четках соответствуют эти рифмы? Рубину и пружине. Что-то связанное с тяжестью в шее, когда невозможно поднять голову, да это и страшно сделать. Беда в том, что там меня никто не ждал и

через неделю не будет ждать, что воображение забегает вперед, оно проигрывает все содержимое кошелька, снашивает медвежьи шкуры. Почему, если на ходу внимательно смотреть вниз, под ногами оказывается столько грязи и мокрых щелей? Банк пустой, медведь голый. Ограбление заранее опустошенного банка – это что-то киношное, анекдотическое, это соответствует военной пуговичке, а шкура медведя (живого, – пусть он живет) – алюминиевой муфте (опоясывающая рифмовка). Почему по воскресеньям так грустно, если оказываешься на улице? И что выгоняет из дома вот этого, например, бегуна или этого пожарного с планшетом? И так, и так, я никому не нужен, меня никто никогда не любил, в мире такой недостаток солнечного света, повсюду грязно, все ветшает и ничего не восстанавливается. Почему уличные бегуны, как правило, выглядят оскорбительно неспортивно? Они будто стыдятся чужого спортивного костюма и потому так лениво бегут, что должны его оправдывать. Меня пугают, мне неприятны старые, заброшенные, покинутые вещи. Седой забор, старуха, следы выплеснутых из ведра помоев на газоне, и с новым ведром бесформенная баба (ажурная пена коричневой комбинации больше плюшевого цветастого халата), мертвый бензиновый ручей, мужик сбивает об асфальт комья засохшей земли с лопаты, измельченная, выцветшая листовенная труха. А потом каким-то образом должна приходить радость. Откуда только? Пожарный – это, скорее всего, рыбак в антирадиационных крагах. А какие шрамы на асфальте от лопаты, обычно кажется, что это осталось от зимних дворников. Юлия совершенно не знает, что я не был предупрежден. Серебряный кубик счастливой мысли. Я окажусь у нее в назначенный день, и один, один, без опеки нерасторопного Шерстнева, без гостей – особенно незнакомых. И все, что должно было произойти, произойдет. Моего праздника никто не отменял!

Явился я с веселым лицом и сразу – чтобы не дать ей остановить меня – принялся наговаривать поздравления. «Дорогая Юлия! Я пришел поздравить тебя. Хочу пожелать тебе...» Сбился. Не здоровья же ей сразу желать. Речь не продуманная, одни банальности. И все-таки – не пожелаешь здоровья, может, тем самым его уменьшишь? Она легко улыбалась и все равно готова была слушать меня. «Заходи! Сейчас будем есть торт». Только и сказала она.

Громоздкий, сытный, розово-зеленый бок торта оставался со дня рождения сестры (восемь лет и четыре дня разницы). Как плохо, когда даты рождения несхожих сестер так близки. Юлия говорила, что это стало терпимо, только когда она сама смогла приглашать своих друзей.

Александра была тут же и почему-то выясняла, что мы изучаем в университете. Мне хотелось указать глазами на Юлию, которая так же, как и я, знала программу. Но по равнодушному поведению Юлии я понял, что, наверное, это будет неуместно. Сестры не слишком горячо общались друг с другом. Александра описывала, какие пластиковые плафоны она установила на потолке в своей квартире. Не отличишь от подлинной лепнины, и к тому же блестят.

Я позволил себе наклониться к Юлии, которая опустила глаза и, укрытая волосами, ждала вопроса.

– Что это ты теперь читаешь? – спросил я, указывая на распластанную книгу с сильно состарившимся корешком.

– Одного энтомолога, – отмахнулась она.

Конечно, Юлия выглядела празднично в моих глазах, но была какой-то утомленной. Я был горд своим вкрадчивым вторжением. За отсутствием Шерстнева – (справедливая мстительность) – все сошлось с моими предварительными фантазиями. В квартире пахло так, как будто сожгли много стеариновых свечек, как будто пол натерли мастикой, как будто разводили пчел. Это был запах, который очень подходил приветливому вечернему дому в момент уютного праздника. Включенный в комнате Юлии ночник был куда удачнее того естественного освещения, которое заливало мои преждевременные грезы. Отец Юлии предложил мне сыграть в шахматы, и я бездумно продул ему две партии, после чего он сам потерял интерес к игре со мной. Никто и не заметил, что я – хотя по легенде и пришел на день рождения – был без

подарка. Немного нравственных колебаний – стоит ли изображать удивление, что остальные гости отсутствуют? Но их будто и не требовалось. Казалось, что я, наоборот, инсценировал свое незнание о празднике и удачно попал к самому его разгару.

У Ильи Анатольевича, как это бывает у курильщиков, был свой бронхит едока. Справившись с тортом и чаем, он долго и продолжительно откашливался. Почему-то зашел разговор о том, что слюна – пена буйного аппетита – бывает настолько обильна, что медленно затопляет дыхательное горло.

Татьяна Евгеньевна была обладательницей ярко-пятнистых щек, мелкая россыпь кармина. Изредка у нее появлялся скучающий взгляд, который вместе с этими красноватыми разводами сразу казался болезненно беспомощным. Но, слава богу, часто и охотно она улыбалась, и тогда пятна всплывали к скулам и соединялись в сплошной интенсивный румянец, сразу восстанавливающий в ней впечатление беспечной свежести.

Именинница. На опущенной чуть ниже крыльев носа тонкой перегородке между узких ноздрей у Юлии – если смотреть сбоку – было два мелких скульптурных скола, одинаково покрашенных розовой тенью. Идеальной красоты колумелла. Ошибившись как-то, она положила мне дополнительный кусочек торта в свое блюдо. Сразу стало вкуснее. Потом озабочилась, чье это было блюдо, и – мое, мое, сказал я, скрывая странное волнение.

Выяснилось, что ее отец не разбирается в устройстве парусного судна, хотя всегда мечтал выучить правильные названия мачт. Я пообещал принести Стивенсона – полный свод необходимых сведений. Мои знания вызвали одобрение без проверки. Я разомлел и был уже готов порассуждать о тяготах с памятью. Но меня перебило то, что Илья Анатольевич отлучился к себе в комнату и вдруг, явившись, вручил две роскошные африканские маски, щедро занавешенные бусами и перьями, причем их таинственная агрессивность сказывалась только в том, что их не хотелось примерить. Кажется, это было и невозможно – слишком близко посаженные глаза, маленькое расстояние до рта, неудобные острые впадины под виски. Не для собачьего ли черепа это делалось?

Возможно, давлением в виски потом уже ощущалось внутреннее наказание за маленькое преступление – этот день, который я украл у провидения. Или все-таки есть законы, которые даже это запрещают? И есть в памяти такая странная недостоверность – особенно у наиболее отчетливого прошлого. В этом прошлом все равно нет никаких способов убедиться! Память – это проблема уже потому, что ей приходится верить на слово. Как бы мне хотелось постичь убедительность памяти тех счастливых, которые не сомневаются в ней. Никаких явных доказательств этого вечера у меня не осталось.

VIII

Уже опаздывая, второпях я приобрел примечательную вещицу, за которую мне тут же стало стыдно. Столбняк вселенского уныния подержал меня на крыльце несколько бездумных минут и позволил поиски чека, которого я, естественно, не брал. Возврат был невозможен, а для новой покупки был нужен другой капитал. Мой капитал не подлежал размену: будь я расточительным магнатом, я бы все равно не помнил, откуда берутся деньги.

У меня в руках была плоская коробочка с убогим графическим изображением только что приобретенной штуки. Это было хрустальное подобие прозрачной скалы, внутри которой крутилось колесико меж двух шатких ведерок в виде сердец. Из верхнего сердца – из самого низа условного треугольника с двумя пышными округлостями и намеренно затененной впадинкой между ними (имитация сразу двух деталей нежной анатомии) – вытекала ярко-красная жидкость, прозрачная пузырящаяся кровь, какой она бывает при плохой свертываемости или на стадии смешения с лимфой. Эта маслянистая жидкость из тонкого потока разлеталась на мелкие шарики в легкой прозрачной воде, незримо наполнившей посуду, и попадала

на лопасти мельницы, заставляя ее живо-живо кружиться в течение одной астрономической минуты. Когда нижнее сердце (всплывающее округлостями вверх) переполнялось, оно заваливалось набок и замыкало механизм мельницы. Верхнее сердце, опустев, отваливалось в сторону, обратную истечению, испустив последнюю гранатовую каплю, которая разбивалась в мелкие брызги о намертво вставшее – в момент падения капли – колесо. Стоило игрушку перевернуть – все это работало заново новую минуту: нижнее сердце, наполненное кровью, чутко поворачивалось вместе с движением кисти и оказывалось вверху, начиная кровоточить из своего аккуратно пораненного уголка.

Под подарками образовался трехногий журнальный столик. Под столиком на боку лежала Джема, немного осоловевшая от обилия гостей, к тому же сама являвшаяся преждевременным подарком. Ее ухо, спасенное от купирования, было вывернуто и пылало розовой наготой. Я с беспомощным ужасом смотрел на распакованный Юлией подарок, и мне казалось, что я замечен в неизбывной, немеркнувшей, вечной пошлости. Только от моего подношения на столе осталась уродливая коробка. Я успокаивал себя, что девушкам обычно нравятся всякие штучки с сердечками (ненадежное наблюдение со школьных лет), к тому же вновь прибывающие гости неизменно, входя в комнату, шли к моему подарку и начинали крутить его. Мне было неудобно, дико, я не мог успокоиться. Я стал бояться стать заметным для незнакомых мне людей, чтобы потом – когда они узнают, кто посмел принести в дом эту сердечную мельницу, – никак не связывали бы этот позор со мной или просто бы меня не запоминали.

Милый Шерстнев на какое-то время отогрел меня, потому что живо занялся этой игрушкой, изучал ее, поворачивал, исследовал на свет. Если бы она вслух была одобрена поэтом, я бы осмелел от радости. Но рука Шерстнева, как-то не слишком разобравшаяся в идее кружения, вернула игрушку на столик боком. Мельница стояла неподвижно, но оба вздыбленных, неизменно торчащих сердечка какое-то время качались, тогда как пузырьки крови, лопааясь и теснясь, выстилали новое широкое дно, постепенно превращаясь в одну красную жидкость, отделенную от другой – бесцветной жидкости маслянисто-ртутной полосой. Тут же появилась рука новой гостьи и поставила сердечную мельницу правильно.

Это была ровно настолько знакомая мне девушка, насколько казались знакомыми все Юлины двойницы. Мне почему-то показалось уместным вести себя с ней так, как следовало вести себя со всеми эманациями Юлиного образа. Я чувствовал себя слишком пьяным от досады за то, что не выдумал более или менее значительного подарка или слов, которые придали бы ценность этому. Я негромко спросил новую Юлию, нравится ли ей мой подарок. И я назвал ее Юлией, она же все равно потом исчезнет. По крайней мере, это могло бы означать, что я отметил сходство между ними.

Девушка высоко держала голову и встревоженно обвела взглядом мой подбородок. Мне показалось, что у нее было что-то вроде знакомого диссонанса между радужками.

– Твой подарок? – она посмотрела на мельницу и критично дернула уголком губ. – Это игрушка? – беспечно спросила она.

– Скорее, часы. Минута времени.

– Славная штучка! А я подарила вот это, – и она блеснула глазами на их пути к столику.

Я с завистью обвел взглядом новенький том «Писем к незнакомке» Мериме; черный альбом с картиной Леонардо да Винчи и его же подписью; разукрашенную перистой сепией раковину; русскую пластинку Тома Вейтса; деревянный браслет из можжевельника (с такими же, как у одной детали моих четок, трапециями); черный ежедневник с торчащей из него шариковой ручкой; сшитый из кусочков кожи кулончик на замшевой полоске.

– И что же? – улыбнулся я.

– На самом деле она давно об этом мечтала, – продолжала двойница Юлии. У меня недолго успела мелькнуть мысль, что имеется в виду моя безделица. – И я сделала ей этот подарок...

– Хорошо же знать, чего ждет именинница!

– Надо заранее спрашивать.

– Так что ты подарила? Я пока не понял.

Девушка улыбнулась и с готовностью снова указала мне взглядом столик:

– Выбери.

– Это смешно, конечно. Трудно выбрать. Моя мельница и Джема под столиком отпадают.

Почему именно у тебя Юлия попросила этот подарок? Может, если я узнаю, чем ты занимаешься, я решу, что тут появилось от тебя.

– Марк! – удивила она меня. – Вообще-то я биолог.

Я кивнул, потому что картина каких-то совместных встреч в нашем учебном корпусе, пребывания в столовой, рассказов о другой Юлии у меня действительно сквозила в голове, как сквозили группки Юлиных двойниц и толпы недознакомленных со мной людей (все они садятся в поезд на станции, где моя память – служащий вокзала – подает знак к отправлению).

– Жалко, что Джема отпала, было бы проще, раз уж ты биолог.

– Джема – это тоже подарок, в котором я участвовала. Но это было больше месяца назад, теперь пришлось дарить новый.

– Значит, я абсолютно уверен, что это раковина!

– Я была этим летом на море, – неторопливо ответила вторая Юлия, приставляя раковину к уху. – Странно, ничего не слышу! Нет, у меня было это.

Указательный той же руки, которой она держала раковину, Юлия положила на альбом Леонардо, а потом на указанное место поставила раковину. И так горностаи оказались в силках. Я опять уловил в ее зрачках еле заметную асимметрию, нужен был особый ракурс, и тогда этим глазам удавался эффект растерянности от собственной красоты.

– Признаю, у меня был неправильный путь размышлений. Не везет мне сегодня! Было бы проще, если бы ты была художницей.

– Здесь не только картины, есть и рисунки его изобретений, и истории про похожие идеи...

– Или была бы известной рукодельницей и подарила бы этот кулончик...

– Или незнакомкой, – усмехнулась она.

Широкий журнальный столик, на котором наискось лежит полотно из темного льна с жесткими кистями: ваза с зимним салатом и кувшин вишневого сока оказываются на голой части стола. Шерстнев долго возится с бутылкой вина, холодно показывая всем своим беззаботным видом, что ему непривычно бороться с пробочными напитками и что ему известно о крепком содержимом морозильника. Его с Юлией однокурсницы – чинные дамы по сравнению с моими оживленными девочками (только год разницы, очевидно – тот самый фатальный для развития девушек год). Они с удивлением узнают во мне студента с младшего курса. Какая-то до странности привлекательная мелодия – приглушенные хрипы обаятельного страдальца (подарочный конверт пуст). Одновременно две гостьи поправляют края платьев, поскольку они только что сели и их колени оказываются выше стола, Шерстнев извлекает раскрошенную пробку, а именинница плавно погружает две чистых ложки в салатницы. Все, что говорит Никита, произносится сбивчивым хохотливым тоном.

– Представляете, сегодня в троллейбусе надо бы было ехать с телекамерой. Одни бабки. Юля, а ты не хочешь сразу поставить на стол водку? Ну и что, что теплая, быстрее захмелем.

Все оказались за столом. Никита придиричиво оглядывал смущение сидящих, заявляя, что без тоста пить нельзя. Предвкушающий вдохновение Шерстнев убедил предоставить ему особое слово потом, девушки пожимали плечами, меня, как самого юного и наименее знакомого, не мучили вовсе, и, наконец, Никита с назидательной и утомленной быстротой провозгласил тему здоровья именинницы.

– Я все забыла за лето, – тут же объявила ближайшим соседям грустная девушка, Катя Блинова, – в нашей группе уже провели проверочную контрольную и опять по транскрипции. Вашу группу это все ожидает на следующей неделе. У меня только одна ошибка, и Казанова поставил мне четверку.

– Несправедливо, – заметил Никита. – Мы должны рассчитывать на то, что нам простят пару ошибок. Они всегда бывают. Без ошибок было бы страшно. Как лицо без улыбки, нельзя признавать книгу без опечатки. Если не будет ошибки в самом тексте книги, она обязательно окажется на корешке!

– А вот Малларме, – задумчиво-повествовательно объявила Юлия, – задумывал книгу, в которой даже ошибки имели бы свое определенное место, в соответствии с устройством мира.

– Похоже на лекцию Марцина, – попыталась шутить печальная Блинова. – Нет, ребята, это надо как-то переводить. Сейчас мозги у нас никак не включаются.

– Да, – подтвердил кто-то из гостей, – сначала законспектируйте, а мы потом разберемся.

– Переводится имя Малларме двумя способами, – сказал я, и, поскольку это были мои первые слова в незнакомом для меня обществе, все посмотрели на меня с любопытством. – Один вариант фамилии – Дурноплаков – мог бы принадлежать провинциальному помещику с дворянскими корнями – древними, но бесславными. Другое дело – Безоружный. Не фамилия, а кличка, – вполне приемлемая для поэта.

Общество вяло обратилось к тарелкам. Было видно, что мой способ ведения разговора о поэте оказался совершенно неприемлемым.

– Кажется, здесь нет французов, кроме нас с тобой, – заявила вторая Юлия. – *Que faites-vous demain?*

– Тем не менее эти переложения не годятся, – продолжала Юлия Первая, готовя свою победу с детской улыбкой. – Разумеется, «плохо вооруженный» – это дословный перевод, из-за которого Малларме сразу же уступает Шекспиру, хотя для меня он – не менее потрясающий и пикантный поэт. Смотрите, если бы не второй «л», который вполне может быть оправдан всякими историческими процессами во французском, мы получаем красивое и нежное – «моя слеза». Но мне куда больше понравилось то, что «лярм де серф», – (она так и произносила эти слова без всякого франкофонного старания), – или более правильное – «лярми», совсем заводит нас в уголок крупного оленьего глаза, где слезоточит только ему свойственная воспаленная железа. Так же названы лошадиный висок (тонко ноющий) и протекающий дождевой отвес крыши.

Я любовался ею, как всегда, как и в тот момент, когда на мое плечо протекал ее мальвинчатый зонтик. Вторая Юлия, двойница, одна из Юлий, хвалила познания виновницы праздника. Блинова уныло шептала своей соседке, Наташе Радченко, что присутствующий здесь я, скорее всего, был приведен невоспитанным Шерстневым и это вовсе не значит, что я хорошо знаком с именинницей и получил приглашение.

– Есть еще вариант, – продолжал я, – это неправильно расслышанное *mal-aime*, предположим, из провинциального диалекта. Понравилось бы Аполлинеру. Или у представлявшегося так предка поэта была каша во рту – щека разорвана рукояткой сарацинской сабли. Кстати, о враждебных нам сарацинах, как тебе сорт винограда – *malbes*, тут в самом названии звучит проклятие птичьим клювам, которые уничтожают его ягоды?

– Вы как-то зло зациклились на одном слоге, – удивленно заметила Вторая Юлия, и ее французское ухо начало меня тревожить.

– Это началось после того, как мы все вместе посмотрели один фильм Луи Малля, – вставил самодовольный Шерстнев, которому нравилось нарушать объективную истину ради бескорыстной хитрости. Но Юлия отвечала мне (именно мне):

– Из птиц мне больше приглянулся «маляр» (с «т» или «д» на конце), то есть пухлый селезень.

Вторая Юлия кивала с иронично оглупленным лицом, подхватывая тему:

– Русское «маляр» как раз можно перевести как «скверное художество». Да, Юленька, ты здорово занялась наукой. Скоро обскачешь меня не только в языке, но и в орнитологии.

– Давайте поговорим о чем-нибудь человеческом, – назидательно взмолился Никита. – В конце концов тебе, Юль, сейчас надо учить русскую фонетику, а не французский.

Раздался звонок. Юлия бросилась к двери, поднимая своей стремительностью Джемму. Грациозная, потягивающаяся собака вдруг поняла, что речь идет всего лишь о новом госте, еще раз помяла когтями мелкое руно паласа и вернулась к столу. Девушки брезгливыми запястьями отстраняли ее худую серебряную морду, поскольку все уже заметили дрожь нефритовой петельки под расслабленной губой. По коридору покатился живенький говор (еще один балагур на сегодня), с призвуками лопающейся пены, со звонкими ужимками, но как-то в нос, как будто желчный трагик пародировал комедийного актера. Все пытались вслушаться в обращение незримого пока гостя. Оно текло так плавно, будто бы было хорошо заучено, но в нем витала одна витиеватая торжественность без какой-либо доступной пониманию связности.

«...Именинник – это тот, кто лишний раз доказывает, что он необходимый и незаменимый человек. Всегда надо хорошо разбираться, как именинник себя чувствует, какие у него перемены в жизни. А кто разберется? Я – пас! прошлое не поминаю, берегу глаз. Хотя, конечно, можно писать письма. И это их основная профессия. Вот! Это тебе! Породу я не знаю...»

– Вот кто бы произнес отличный тост, – удовлетворенно заявил Никита. – У нас определился тамада!

После попеременного вытягивания лиц и несколько даже картинного недоумения, наше общество услышало странный животный рокот и тяжелые хлопки. Девушки вскочили, кому-то ничего не было видно в тесном коридоре, за гулом восклицаний нельзя было понять, что к чему, грустная Блинова застыла посреди комнаты – наклоняясь и прислушиваясь, пока в комнату не внесли клетку с двумя напуганными гордыми голубками.

Сделавший подарок вошел в комнату, блестя глазами, пожал руку довольному Шерстневу, быстро развел перед ним ладонями, пожал плечами и грустно огляделся. Черные масляные кудри, смуглая и тонкая кожа, – он казался цыганом, который за счет синевы глаз и каких-то манипуляций с поведением и прической решил подчеркнуть свое сходство с индейцем. Оказалось, что он полностью владеет собой, его звонкая речь не перетекла в кривлянье на публике. С такими мелкими зубами и ногтями, с такой аккуратностью бровей – подобные люди вызывают только одно неразрешимое подозрение, что они слишком тщательно за собой ухаживают. Он не осматривал собравшихся, провел цепким и внимательным взглядом по книжной полке, по столу, по шторам, по коробкам на бельевом шкафу и на крашенных блоках люстры отворотился и зевнул.

– Хорошо, что появился, – заметил Шерстнев и добавил с особым знанием того, что гостю особенно необходимо, – сейчас мы с тобой перейдем на водочку.

Гостя звали Антоном. Никита пронизательно хвалил его за быстроту речи, ожившая Коваль убеждала, что знает его по одному из труднодоступных черноморских лагерей. Антон молчал и вглядывался в глаза того, кто с ним говорил, исключительно насмешливо. Его молчание при разговоре было почти неучтиво, но для живого общения ему хватало одной только сдержанной пластики. Шерстнев поэтому тоже не сильно лез с разговором, но старательно ловил его взгляд, кивал и утешительно хмыкал. И хотя я не произнес до сих пор ни слова, новый гость нашел меня глазами и, окаменев, медленно поднял узкий надменный подбородок, продолжая меня разглядывать. Не люблю такого взгляда. В пионерских лагерях по нему безошибочно определялся тот, с кем в середине смены приходилось драться.

– Я только думаю, – решил заметить я, – это только предложение, что голуби должны вылетать на прогулку. Неужели придется привязывать к ним шелковые ниточки, чтобы они не разлетелись и легко находили родной балкон?

– Проголодаются – прилетят, – заметил Никита, и все обратились к бокалам.

Никита снова мог быть разочарован, но новенький действительно мгновенно согласился с его предложением объявить тост. Тост будет гороскопическим! Шерстнев прищурился и глубоким кивком согласился. Никита со слюнявым толстогубым весельем успел и хохотнуть, и поправить: гороскопический. Коваль и грустная девушка с улыбкой переглянулись, но тут же стало понятно, что они всего лишь высчитывали правоту словообразования.

Тост понуждал нас сдвинуть календарь, начиная отсчет с Юлиного дня рождения. Вводя хороший порядок, Антон называл прежний знак зодиака (ну поправь же, Никита) и, если кто-то откликнулся, тут же выдавал предсказание.

– Скорпионы. Вас ждет счастье, удача и всемирное признание. В ближайшее время вы встретите много нового и неожиданного. Вы поймете, что еще не высказали дорогим людям самого важного, по поводу чего, может быть, давно предаетесь отчаянию, и ваши дела пойдут на поправку.

Юлия захлопала в ладоши. Грустная девушка смутилась, пожала плечами, сняла с полосатой трубочки зонтик из папиросной бумаги и начала хрустеть его сиреневыми складочками.

– Стрельцы. Вы выполните самую заветную кулинарную мечту, встретите принца, совершите путешествие.

Джема торжественно просияла. Вторая Юлия скептически кивнула в свое худое плечо, потуже связав на груди руки.

Шерстневу посулили крепкую и долгую любовь музыки (зря! он же не любит больших произведений). Мне в ближайший месяц посчастливится найти дореволюционную монетку и бросить ее в Луару или Онтарио (значит: подальше отсюда). Девушкам – какие-то ветреные исполнения каких-то непроясненных желаний, а Никите начало удалой карьеры.

– Все сходится, – довольно кивнул он. – Мне как раз сделали предложение с телевидения.

– Ты забыл про Деву, – заметила Юлия, и, кажется, музыку ее полусшепота среди пере звона бокалов и громкой болтовни общества расслышал только я.

– А у них – полная неизвестность либо ничего хорошего, – ответил Антон.

Я не мог увидеть его лица в этот момент, потому что она наклонила голову, замерла на нем улыбающимся взглядом и так значительно сжала губы, что по уголкам – из ямок, теней и бледного света помады – образовались завихрения, от которых на спокойном лице сохраняются следы скрытой улыбки, что придает устам змеистость и называется вертиго, чем я тут же начал страдать от этого зрелища, а больше всего от одного огромного разочаровывающего открытия. Антон наклонился к Юлии и четко сказал в ее бледный висок, в газ подрагивающей бледной пряди:

– Потом обязательно рассмотри их хвосты, там такие же красивые рисунки из перьев, как у снежинок...

Выбраться из-за стола мне мешала Джема, которая, лежа на полу, ухитрялась обозревать стол, подобно подводной лодке у изобильного туземного берега. На кухне я нашел Шерстнева, в иной момент он мог демонстративно протянуть мне зажигалку, не дожидаясь моей просьбы, а сейчас долго не понимал, что я у него прошу, и пожимал плечами, пока я не увидел коробок спичек на прожженных рукавицах около плиты, и мы друг за другом шагнули на балкон.

Она, разговаривая с Антоном, допустила один жест, – только сейчас стало понятно, как мне это дорого. Как же, очень хорошо помню, каким был этот жест: закрытая полуулыбка, сопровождаемая ехидным прищуриванием и еле заметным отрицательным покачиванием головы. Однажды и я получил эту улыбку в ответ на вольную, но хорошо воспринятую шутку. Не могу помнить какую, – я помню эту улыбку. Она была почти непозволительной новостью и придавала сил. Выходит, эта улыбка раздавалась всегда и всем. И как же я мог предполагать, что это только для меня? Потому только, что каждый человек, поскольку свет личности наделен индивидуальным оттенком, после нашего знакомства с ним извлекает из

нас какую-нибудь характерную гримасу, и мы невольно используем ее и дальше, когда его видим. Гримаса, как хотелось бы верить, в изменчивом, но неповторимом виде принадлежит только одному адресату. Хорошая теория: Калибану должно было казаться, что все очарование Миранды возникает только в ответ на его появление. Но если они знают лучше нас все механизмы своей красоты, почему бы не поражать всех одними и теми же – одинаково сильными – приемами. Какая беда!

Шерстнев выслушал меня крайне внимательно, у него была грустная мудрость в глазах, потом он заметил:

– А Никита прав, этих голубков как-то придется выгуливать. Видишь, перед балконом деревья. Они просто взлетят, покружатся над домом, а потом могут не найти этого балкона. Или сразу улетят туда, откуда их принесли. Может, у кого-то на этом построено дело? – и он лукаво хохотнул.

Я знаю, что когда говоришь что-нибудь, то авторство своей фразы надо бы подчеркивать фирменной интонационной ужимкой, можно не слишком оригинальной, но она закрепит в памяти собеседников, что эту фразу – раз уж она запомнилась – произнес именно ты. Не важно, пусть Никита. Мне никогда не везет с авторством, мне самому мои мысли редко кажутся пригодными для дальнейшего цитирования, а артистическая скромность не дает украсить их произнесение собственным росчерком. Печально только, что ко мне частенько с видом несомненной свежести возвращаются мои же шутки, тогда как я мог бы радоваться более изобретательным новинкам.

Мы вернулись к столу. Юлию спросили, за что это на нее – одну из лучших учениц – так ополчилась Горностаева. Добрейшая бабушка...

– У меня с ней не было никаких проблем, – признался Никита.

– При твоей идиосинкразии к учебникам, ты легко отделался, – сказала Юлия.

– Кто мог подумать, – заметила печальная Коваль, – а ведь какая вредная оказалась!

Со стыдом я признался себе, что до сих пор не потрудился узнать у Юлии, какой именно экзамен она провалила. Впрочем мне тут же показалось, что я спрашивал и потом забыл об этом. Добрая моя совесть, ты еще щедра на утешение.

Вполне хватило бы для объяснения и того, что мы все – обычные лентяи. Но Юлия! Юлия была аккуратна и спокойна. Она уместно высказывалась, слишком хорошо держала осанку, и – как бы естественно это ни смотрелось – почему-то хотелось при ней распрямить плечи, тут же начинала ныть поясница. Она внимательно читала, она была умницей, и я впервые посмотрел на нее с новым и неожиданным удивлением. Оказалось, что целая серия прошлогодних (домашних или иных) неурядиц уже приводила Юлию к желанию взять академический отпуск, а то и бросить учебу. Самое страшное, к чему это привело – Горностаевой очень не понравилось появление студентки, пропустившей столько важнейших контрольных работ, от Юлии до сих пор требуется переписать их все, но в странном дидактическом раже ей дают понять, что это невозможно сделать без получения редчайшего лекционного материала.

Любопытно, что Юлия могла бы собрать лекции у своих однокурсниц и по нескольким спискам сделать себе самый полный дословный свод всего, что на лекциях говорилось. Но именно эти рукописи к концу прошлого года оказались востребованы всеми напуганными неучами, некоторые из них переписывали отдельные контрольные до шести раз, и после неуловимых серий суетных передач, как при согласных манипуляциях мошенников, Юлия осталась без средств к спасению, хотя было видно, что самые нерадивые студенты с начала нового семестра еще не отважились подойти к письменным столам, привыкнув во время бесстрашного лета без разбора ненавидеть пылящиеся на них учебники и тетради.

Я в какой-то момент отметил про себя, что Юлия и другая Юлия образуют основание равнобедренного треугольника, если взять во внимание клетку с присмирившими голубями, оставленную почти посреди комнаты за спинами гостей. Уроки геометрии – что-то тревожно

недопонятое и ставшее вечным упражнением воображения. В другую сторону вершиной меньшего равнобедренного треугольника был я.

После нового перекура, во время которого презрительный Антон не сводил с меня насмешливых глаз, разговаривая с Шерстневым при помощи кодов, наработанных давним знакомством, после смены посуды (следы салатов куда соблазнительнее пресных разводов крема, – если судить не только по вкусу, а по расцветке грязных тарелок, праздничный обед всегда начинается с наиболее колоритных блюд), на столе появились дымные порции ярко-желтого пюре с мерцающим жиром свиных отбивных. Мы немного сбились при рассаживании, Юлии поменялись краями стола, а в их вершине – на бывшем моем месте – оказался назойливый Антон, но ромба не создавалось, поскольку клетка с птицами из комнаты пропала. Я выяснил, что ранее принадлежавший Антону стул – самая высокая точка нашего застолья и что все равно я создаю с Юлиями правильную геометрическую фигуру, если строить ее при помощи Шерстнева, сидящего по одной линии со мной на серебряного окраса цилиндрике пуфа. Скорее всего, мы образовали вписывающую всех присутствующих трапецию, зато большое блюдо с зеленью и помидорными дольками лежало в центре пересечения моей со второй Юлией линии и линии, которую именинница образовывала с Шерстневым. А один из выпуклых позвонков на спине Джеммы, которая приняла позу Сфинкса под столом, переводил меня в область упоительной стереометрии.

Я невольно изучал свою диагональ. На ней стоял пустой бокал с самым напомаженным краем, за ним нетронутая тарелка с горячим, над которой находились два спокойных глаза. У второй Юлии были пышные скулы, и она без всякого смущения встречалась со мной взглядом.

Конечно, между ними не было никакого сходства. Идея двойничества всегда дает сбои, если только речь не идет о зеркальном негативе. Первая Юлия приставила четыре пальца ко лбу и только чиркающим мизинцем поправила прядь волос. Эти девушки отличались какими-то несопоставимыми нюансами, но первая была заметно выше, с удлиненной талией, с менее ярким лицом, но более звонким смехом. Еще немного, и я мог подумать, что судьба слишком настойчива, раз торопится с новым образцом привлекательного женского типа.

У второй была преувеличенная голова, что делало черты ее лица интереснее и заметнее, как это сделал бы художник, чтобы обратить внимание на интересную внешность. Действительно, правильные человеческие пропорции делают все части тела уравновешенно маленькими и неважными относительно друг друга. При длинном бедре ее голень оказывалась слегка сокращенной и слишком тонкой. У второй особенно важен этот улыбающийся миндаль большого глаза и бровь, выщипанная тонкой дугой, текущей к переносице пушистой вытянутой каплей. У каждой брови было два острых излома. Всякое незначительное чувство – разговор с собакой, вопрос постороннего – высоко поднимало такую бровь за два отчетливых уголка.

– Антон, – спросил Шерстнев, – где сейчас можно достать кальвадос, чтобы хорошенько наклюкаться, как у Ремарка?

Потянувшись за бутылкой, он взялся как раз за алюминиевую крышку и, не убирая руки, свинтил ее, перехватив холодное стекло другой рукой. Вышло ловко, но, пока он тянулся, пufик завалился набок, вылез из-под чехла, и оказалось, что это старенький пылесос – весь перебинтован шнуром и мохнатый войлок торчит из дырочки.

Вторая Юлия вскрикнула. Джема собиралась лечь и, вытягивая лапы под столом, полоснула голую ногу черным крюком.

– Джема, – звонко сердилась первая Юлия, – иди отсюда. Постриги ногти!

Она, торопясь и склоняясь, вывела собаку и спрятала ее в комнате родителей. Потом увела Вторую в ванную, где они вскрикивали и щебетали, пока распоясавшиеся гости в комнате не начали рыться в музыкальных запасах и не перекрыли наконец приятный двоящийся щебет позывными примитивного радио. Собирались танцевать.

Этот самый Ремарк имел обыкновение заканчивать главу сильной фразой: поэтичная метафора, сдвигающая сюжет деталь, но чаще – житейский афоризм.

IX

Теперь я оказался на кухне один и то ли ждал кого-нибудь из курильщиков, чтобы составить ему компанию, то ли боялся начинающих танцев и ежился от неожиданного напора новой музыки. Иногда на кухне появлялась Юлия и, прежде чем положить в мойку стопку тарелок, сбрасывала объедки в зеленое помойное ведро, выстеленное газетой. Было очень уютно оттого, что я стоял на кухне и каждый ее уход не был окончательным. Когда я сообразил помочь ей, объедков уже не осталось. И вдруг.

Нет, сначала не было вдруг. Она попросила самую малость – записать все, что я говорил о Малларме и так далее... Я тут же согласился. И при этом хорошо понимал, что не могу выполнить обещания, пожалуй, уже никогда. Память мешала мне возродить поток знаний – ведь я использовал мысленные четки, действие которых уже иссякло после использования. Благодаря Никите, я мог еще использовать а) пружину, б) пуговицу из белого тумана, в) цилиндрок из алюминия, но очень надеялся, что сейчас ничего не придется делать, а впоследствии наш поверхностный экскурс во французский лексикон на странице «mal» будет прочно забыт. Я надеялся, что все люди что-нибудь забывают.

Мне пришлось снова увидеть ее улыбку, завихрение в уголках губ (которое вряд ли уже могло стать исключительно моим).

Вдруг. Она оказалась как-то непривычно близко ко мне и смотрела сильно ниже глаз, моя нижняя губа потеплела:

– Знаешь, я давно хотела тебе сказать...

Мы не были знакомы «давно», но то, о чем я только мечтал с самой первой пыльной встречи в развалинах, уже около месяца (разросшегося, как все, что происходит в слишком чутком и неуправляемом воображении), все это выразилось в примитивный хлопок рефлекторной жестокости. У меня был вид холодного пророка, который торопится дать ответ, иначе никто не поверит, что вопрос был им предвиден. Я сразу перебил ее:

– Забудь!

Какое-то время после этого – несколько месяцев недоуменных воспоминаний – мне казалось, что она тут же переспросила меня. Но я повторил то же самое: «Забудь об этом!» И все-таки, скорее всего, она немедленно вышла (с еле допустимым сиянием странной улыбки под опустившимися вдоль щек волосами).

Я еще казался себе пророком, будто бы все увидевшим правильно, даже заблуждение нужно было бы сохранить ради дальнейших вспышек необходимого дара. И это было похоже на мучительное соблюдение celibата исключительно для того, чтобы вовремя предсказывать в женщине неуверенные раскаты страсти, – учтем, что подобных святых провидцев, по большому счету, только они и интересуют.

Я ошупью, еще под действием чуждого вертиго, еще не вспомнив разговора, нашел дверь на ночной балкон, и, пока в черном, ароматном воздухе сгорали одна за другой три моих сигареты, из меня выпаривалась гордость собой за чудовищную стойкость, и, наконец, я зашелся трагичным кашлем.

Вторая Юлия оказалась за мной и мягко толкнула меня в спину одним только телесным теплом ладони. Я тревожно оглянулся не на нее даже, а на балконную дверь. Было очевидно, что в то место, на котором она сейчас стоит, нельзя было ступить из кухни. Она уже минут десять безмолвно была на балконе со мной, – видимо, присела на крошащийся от уличной сырости верстак, уже покурив, и я не слышал ее, – а это значит, что, когда я зашел в кухню и

во все время Юлиных манипуляций с грязной посудой, она здесь любовалась ночью, думала о своем. Мечтательность в ней была неожиданна, но тогда я видел ее впервые и этого не знал.

– Как вы интересно общаетесь с Юлькой, – заметила она, когда мой кашель безопасно иссяк. – Вы с ней как будто заранее подготовились к разговору об этом французском поэте.

– Я ни к чему не готовился, – грустно соврал я. – Это такая игра... Люблю просматривать темы случайных разговоров... Чтобы не забыть.

– Вот оно что, – Вторая Юлия слишком уж поспешно выразила сочувствие. – Ая приносила ей франко-русский словарик. Он почему-то ей срочно понадобился.

Не очень-то внимательно я ее слушал. Я вошел в темную загроможденную звуком комнату. За занавеской были рассыпаны пылающие свечи вокруг вытянутого столбика затейливого ночника, в комнате горели огоньки музыкальной аппаратуры. Кто-то – кажется, Антон, – стоящий у слабо сверкающего стола, из всплывшего на воздух отблеска выплеснул немного бульканья, Шерстнев из-под моей руки мгновенно стукнул по нему стеклом. Мы выпили. Я еле уложился в три полных глотка. В довольно плотной и плоской темноте меня поразили сверкающие глаза Антона. Водка отдавала серой, к тому же последняя капля попала не в то горло, и я громко откашливался, не боясь перекрыть музыку. Девушки прямо за спиной голосили о чем-то, кажется о какой-то игре, и поэтому мне сдавили глаза повязкой. Смех Юлии был удивительно близким, из-за кашля я не успел заесть выпитое, как меня раскрутили, и в темноте, сквозь боль от колющих глазное яблоко ресниц, я прекрасно знал, где сейчас находится Юлия, как она скользит то вправо, то влево от меня, как открывает верхние зубы в улыбке, как уголки губ полны завихрений, как струятся складки ее юбки. Меня тянуло в пропасть пустоты, но я чувствовал алмазную извивающуюся грань, по которой шагал к Юлии, пока она уворачивалась от моих рук, продолжая выдавать себя отчетливыми хлопками, запахом волос и душистыми брызгами смеха. Возведя ее угрозой широкого объятия на кресло, я – прекрасно зная, где в сорвавшемся дыхании и недовольстве отлова находится ее мягкая щека, – оставил поцелуй и сорванную с головы повязку. Очень быстро из грохота и качающегося мрака я вышел на улицу и быстро пошел пешком, потому что никакого транспорта так поздно не существовало, а надо было торопиться домой.

Город был влажно пуст, как будто всех вывезли на время его проветривания и помывки. Света ночных фонарей вполне хватало на обманчивое ощущение еще не далеко зашедшего вечера. Как эхо друг друга, где-то шуршали машины. Почти нигде в окнах не горел свет. Меня стало мутить, я быстро припомнил все выпитое, и оказалось, что это совершенно неприличная для меня доза, и единственным спасением мог оказаться только немедленный сон. Приближение похмелья совсем огорчило меня. Смутно мне представилось, как при его помощи оправдать свой разговор с Юлией на кухне. Но уже ничего не хотелось.

Подкатывала тошнота. Кислый вкус во рту и слишком весомая серная отрыжка. После сорока минут ходьбы, уже недалеко от дома, я удержался за ствол дерева и решил уже покончить с муками строгой указкой соответствующего пальца, как вдруг увидел идущего по другой стороне улицы Яшу.

– Яша! – крикнул я ему, и, поскольку выкрик был слишком похож на мольбу о помощи, он бледно и чеканно продолжал путь. – Это же я!

Он повернул в мою сторону не больше, чем глазные яблоки, потому что белый подбородок, голубые уголки воротника рубашки, ромбы на его свитере продолжали идти и никак не хотели бы замечать моего приближения. Тем не менее он остановился за стенкой стриженной жимолости, я не видел его головы из-за веток каштана, но в просвете мокрой городской флоры его медленная рука зашла за спину и за спиной защелкнулась другой рукой в незабываемом жесте. Я кинулся к нему с каким-то животным кудахтаньем, которого не стеснялся, потому что радость встречи с ним была упоительной. Он спокойно ждал, слегка отведя назад голову, и не подошел ко мне даже после того, как я растянулся перед ним по сплошному рашпилю

асфальта, повиснув ногой в издевательской цепочке, прикрывающей газон со стороны пешеходной дорожки.

– Зря ты пошел по газону, – заметил он, вглядываясь. – Я все никак не мог понять, кто это меня зовет. Не узнаю голоса. Ты, Марк, не в лучшем виде сегодня...

– Не важно! – я торопился стереть с колен уличную крошку, одна моя штанина была пронзительно мокрой, зато на ней не было въедливого куса земли, как на другой. – Даже не знаю, что делать! Яша, я с праздника, и надо было на него попасть, чтобы... нет, бесполезно чиститься... чтобы увидеть тебя.

– Обойдемся без объятий. Я рад тоже.

Ободранная мякоть ладони под большим пальцем была похожа на куриную ножку, с которой сорвали тончайшую кожицу, и под ней невыносимо саднили черные царапины вперемешку с мелкими камешками в алой кислоте.

– Я давно хотел тебя найти, – продолжал я, растирая ладонь вместо рукопожатия и понимая, что ночная улица обладает силой усиления восторга и небывалого звука моего собственного голоса. – Мне не хватает наших разговоров. А мы так давно не виделись, что к тебе просто уже не подступишься.

– Дело в том, что я и в последний раз тебя встретил не в лучшем виде, – сказал он намеренно двумя тонами ниже. – Ты тогда рассказывал, что только второй раз в жизни пьешь пиво.

– Да ты что?

– Это было после посвящения в студенты.

Странно было оправдываться в том, чего не помнишь.

– Да это не серьезно, – заговорил я, смутно убеждаясь, что не могу быть давним алкоголиком, ведь я веду дневник. – Ты еще не знаешь, сколько у меня нового, сколько я всего узнал. Яша нахмурился. Но со мной произошло чудо. Оно было произнесено мной:

– Я совершенно точно, без вопросов, – влюбился!

Так запросто сказав это, я будто растворился в лучах брызжущего из меня тепла, я стал невесомым и понял в тот момент все, из чего складывалось устройство мира. Казалось, что теперь это знание никуда больше не денется, что я никогда больше не почувствую под ногой толчка земли, поэтому из шутливой вежливости я опять приземлился и позволил себе вернуться к своему неловкому виду перед дорогим Яшей. Было очень весело оттого, что он встречается только в редкие моменты моего опьянения и неловкости, но я легкомысленно верил, что все само собой разрешится, ведь у меня действительно не было ни малейших способностей для бесшабашного пьянства.

– Обязательно, обязательно вас познакомлю, – говорил я. – Это нужно сделать.

Мне казалось, что именно теперь мир полностью восстановлен, что более чудесных друзей мне никогда не вообразить. Хотелось немедленно вернуться к Юлии и все ей рассказать. Я звал с собой Яшу, он посоветовал добраться скорее до кровати, потому что я имею нерасполагающий к ответной любви вид. «Знаю! Знаю! – смеялся я. – Но что же мне делать?» И при этом веселье захватывало меня какой-то новой мечтой, которая касалась краев мира. Яша сказал, что с удовольствием познакомится с моей избранницей, а теперь, извини, надо домой, уже очень поздно. Педант, дорожный педант! Было так странно, что мы встретились в совершенно пустом городе и что теперь он исчезает, как во сне.

– Ты, как я понимаю, идешь от нее? – поинтересовался Яша.

Я счастливо согласился, на что Яша огорченно кивнул.

– Ну что же, как знаешь. Ладно! До встречи!

И совсем решительно добавил:

– Не надо меня провожать, пожалуйста. Быстро домой!

– Когда? – кричал я ему вослед, но он только еще раз махнул рукой.

Я оставался один на один со своим открытием. Вслух было произнесено то, что, может быть, давно стало больше меня, что боязливо перекатывалось во рту, как мучнистый шарик, который я боялся раскусить, потому что он мог оказаться безвкусным, но внутри была начинка – не деготь или чернила, а, слава Фортуне, кумкватовое желе. Все приведение в гармонию было сделано простым и совершенно необходимым шагом. Зачем я так далеко ушел от нее, такая даль не давала от нее греться. И оставалась накипь неразрешенного недоразумения, оттого что мой милый Яша так, кажется, и не поверил в мое счастье. И тут кислая волна излишков праздника вырвалась из меня на черный, будто щеткой и ваксой начищенный асфальт.

Дома счастье было отложено, мне было дурно. С нехорошей усталостью я выдержал разговор с обеспокоенной мамой, включенной и мерзнущей в ночной рубашке, сжимающей руками шею, – она, как и Яша, вела реестр моих случайных захаживаний на скотное подворье мира взрослых и не выказывала радости очередному возвращению. Добравшись до подушки, голова моя при всей своей ватной неотзывчивости разогналась внутри себя в потоке трудного и болезненного движения. Мысли скользили мимо мутных разводов слабо мерцающего фонаря и резались о его разбитые стекла. Свобода моего признания, произнести которое помог Яша, почему-то не была уже достаточной и радостной. Можно было подумать о вкусе Юлиной щеки, которая ведь была же мною поцелована, но я совершенно не отметил его, да он был слишком уж продезинфицирован выпитым, а теперь во рту гулял кислый дух черно-белой гари (активированный уголь и зубной порошок). Но этим поцелуем Юлия была поймана навсегда, невзирая на окружавшую меня тьму, худшую, чем слепота.

Меня до сих пор мучит проблема моей выходки, абстрактной подмены, той странной реакции, которую встретила Юлия в ответ на попытку быть откровенной. Часто ли человек с резвостью деформированного инстинкта подменяет отчетливое желание смутным запретом? Может быть, произошел выхлоп из древних подвалов сознания того самого матримониального табу, мешающего вождельте сестер (и однокурсниц, – даже будущих), как невест, предназначенных для другого мира. Но в одном подозрении я просто уверен: в продлении ее фразы никак не находились интимные излияния (допущенные только отчаянной нетерпеливой фантазией), могло быть никчемное что-то – вдогонку за ранее недоговоренным, могла быть (смешно сказать) хотя бы просьба оберегать медлительный гений Шерстнева, о чем мы не раз потом говорили. Это значит, моя реакция была куда более решительной, чем кажется. Я убеждал себя, что ловко использовал ситуацию и теперь заставил Юлию задуматься о том, в чем сам не был на тот момент уверен.

Как бы то ни было, это воспоминание сохраняет какую-то тревожную и растущую до сих пор ценность. Проснулся я с тяжелой серьезностью, хотя чуждый арлекин во мне потягивался и кувырчался. Все казалось мне нелепым. Вечер я старался еще восстановить в голове, конструируя его заново через метод последовательного проживания (вот я накладываю салат, Юлия сидит справа, вот я выхожу на балкон, Шерстнев стоит спиной). Я выбрал самый желтый фломастер (из редкого набора с лохматыми стержнями, которые мы с мамой с другого конца подпитывали водкой, чтобы расписать) и на календаре – висящей над моей кроватью карте мира века XVII-го с двумя парами вельмож различной степени цивилизованности – нарисовал воспаленную радужку вокруг дня нашего с ней знакомства, 28 августа. Было бы лучше, если бы я обвел дату нашего мгновенного разговора, все-таки это дало бы приблизительное напоминание о дне ее рождения, который с тех пор я неумолимо рискую пропустить.

Мой календарь с драгоценным центром – началом отсчета второго бытия – всегда был ненадежным секретарем, его подсказки только путали реконструкцию событий, и мои упражнения с ним сами по себе фиксировались как опасные происшествия. Но я любил его из-за фигур над полными цифр полушариями: папуас в соломенной пачке; лысый и не более одетый краснокожий с раскраской и пером в оселедце; слащавый китаец в просторном халате и с гро-

шовой трубочкой в руке и поэт-лауреат, чей раздвоенный парик навсегда завершал иерархию разума.

Надо бы, но не люблю я отмечать даты, низкие двери напоминания. Датированная история – это музей, рассчитанный на посещение карликов. Но у меня так выпукло представлено ощущение цикличности жизни, что я все равно каждый год – день в день – спотыкаюсь о фантомные образы прошлого, которые не в состоянии адекватно вспомнить. Мое настроение всегда соответствует личной годовщине. Особенно пышно всплывает чувство неловкости от прошлогодней неудачи или приторно празднует годовщину глухая ипохондрия. И потому лучше уж знать, что это за дата! По дневникам и случайным заметкам приходится отслеживать их и умножать записи.

Меня слишком встревожило смутное движение праздника, избыточное количество отчетливых знаков. Во всем этом требовалось разобраться, от музыки особенно сильно болела голова, что-то только-только началось, и что-то было безнадежно упущено.

Я завел черновики для зарисовывания и восстановления событий. Мне представлялось, что человек, чья память вне подозрений, легко цитирует диалоги минувшего вечера, рассматривает мимику друзей и сопоставляет знаки, которые на месте упустил. Мне же не удавалось – подумать только – вспомнить мои собственные слова и последовательность моих действий. Дело усугубилось тем (какое точное слово «усугубилось» – три скользящих спотыкания, и ты больно растягиваешься под лестницей), что в тот же вечер я не оставил никаких записей, не застолбил участка, а наутро блестящие маслянистой апатии переливались в мозгу, как в девичьем ночнике. У Юлии стоял такой на окне – столбик жидкого желе над лампочкой, от жара которой мелко нарезанная фольга пускалась в сомнамбулический вальс. Я так неуютно себя чувствовал, будто много чего обещал, обидел просящих, изувечил чужие реликвии, потерял свои, что просто обязан был приступить к восстановлению событий. Мозаика моей памяти сыпалась со всех углов. Я выстроил обстоятельства нашего знакомства с Юлией и так положил начало этим запискам. Живо вообразил себе, как веду ее среди развалин (плющ и фреска со стертым копыеносцем), как учу ее курить (она выпускает из носа кольца дыма и смеется, копируя уголками губ его завихрения), как в темноте синема я пересказываю ей сюжет Годарова фильма, как перехватывает дыхание, когда она виснет на моей шее во время медленного танца на ее празднике.

Но больше всего меня волновала какая-то сугубо неприятная новость. Она заключалась не в событиях, не в новых знакомствах, не в двоящейся Юлии и не в одиночестве моего беспомощного умственного устройства. Ясная линия моей дешифровки сбивалась дополнительной деталью, и от нее расцветала другая система представлений. Каждый новый день мне уже казалось, что я не помню самого важного из того, что удалось выяснить. Мне открылась какая-то чужая история в моей собственной, а в этой путанице решительно и ясно видна была только другая – вторая – Юлия, что-то не состоялось и что-то между нами прорвалось. Но в прореху не хлынуло ни света, ни воздуха. Встречу с Яшей я сразу отвел в сторону из-за невыносимого стыда за дурное состояние желудка в момент явления редкого друга. Все, что ему говорилось, должно было отлежаться под внушительным слоем осадков, под снегом самобичевания.

С тех пор началась какая-то утомительная череда встреч, в которых я постоянно обделялся вниманием, а это тут же доказывало мне, что и раньше его не было. Моя тревога страшно разрослась, мне казалось, что Юлия обижена на меня, но вместо исправления положения я думал тайно гордиться – уж не от недостатка ли пламени с моей стороны она так дуется. Значит, ее чувство растет! Вот будет весело, когда выяснится, что мне без нее уже ничего невозможно. Кажется, я правильно говорю, – невозможно? – Ничего? Словесная неточность и бездействие туманят самые очевидные чувства. Только их и нет совсем, пока кто-то первый в них окончательно не поверит.

Все отвлекало меня от такой веры: борьба с памятью, стихи Шерстнева, новые лекции, новые книги. Перед окончательной решительностью мне необходимо было во что-то сладко и упоительно всмотреться.

Х

Время, когда я начинаю и продолжаю себя ощущать, связано с детским садом, – маленькой советской организацией, в которой детей оберегали от излишних домашних влияний. Детство восхищает меня тем, что оно всегда только детство, со своими сочными цветами и невероятно важными вещами, лишенными оттенков трагичности или постороннего участия.

Оно индивидуально и неподкупно, и если мне продолжать сетовать, что мое детство проходило в некую несвободную эпоху, то я солгу против непосредственно детских впечатлений, а именно этого мне не хочется делать. Наше взрослое воспитание и те уступки, которые мы сделали осознанно, заставляют нас что-то подскребать и закрашивать в детском прошлом, но само по себе оно неизменно свободно и восхитительно. Детство – это не какой-то набор событий – сплошь незначительных, – но это упоительная история неповторимых реакций на них!

Мое сознание просыпалось поздно и неохотно, будто бы выходило из сладкого эфирного сна. На самом деле, входя в этот сон, оно и проснулось. Я угодил в больницу с приступом грыжи. Закутанного в одеяло и лохматого меня принесли в операционную и, перед тем как закрепить на мне какие-то ремешки, дали примерить тяжелую резиновую маску. Время было новогоднее, я надорвал живот, пародируя перед хохочущими гостями маленького Гаргантюа, который в свою очередь уже повторял Геркулеса. Я отважно перемещал по комнате какие-то набитые тряпьем чемоданы, печатную машинку отца, сдвигал с места кресло-кровать, и все кончилось на попытке приподнять створку дивана, под которой в чулках хранилась летняя обувь.

Медсестра, предчувствуя, что на операционном столе я могу сопротивляться примериванию непонятных вещей, сказала, что наденет на меня маску лисенка. Я только тогда и начал сопротивляться, потому что маску сначала хотелось внимательно разглядеть, не очень-то она была убедительна изнутри. Но когда я сделал в ней первый возмущенный вздох: яркие многоэтажные цветы, ароматы самой приторной пыльцы, лепестки с прожилками всех видов цветной штриховки, – и среди этой оранжерейной свалки скакали все мои любимые звери. Совершенно живые.

Я захотел оказаться в маске петушка, и, видимо, ассистентка хирурга услышала это, и с ее доверчивого позволения, на последней грани сознания, я поменялся местами с шагающим передо мной петушком. И тонкие перья в его хвосте, и мягкий гребень, и такая же бородачка постоянно вздрагивали, и внимательный глаз завидовал моему рыжему костюму. Мы поспешно перемахнулись обличиями, и на скачке ярчайшего рыжего пятна я заснул.

Единственное, что я по-настоящему вынес из всего этого события, – это стойкое знание о том, каким волевым усилием следует осуществлять свою фантазию. Это и сегодня кажется чрезвычайно легким – надо только сделать это одновременно с рождением замысла, отчетливо увидеть мечтаемый образ и броситься к нему.

Впоследствии истории про волшебные палочки, про щедрость фей, про услужливых колдунов не так трогали мое воображение, как это было у моих сверстников. Мое вдохновение походило на какое-то точно контролируемое усилие, как ни странно, оно связано именно с напряжением внизу живота, там, где остался пунцовый шрам, неосторожно пересекающий с тех пор правую часть паха.

Мне кажется, что если бы я до сих пор помнил эту волшебную сосредоточенность... Превращение происходило именно потому, что я совершал прямое бесстрашное усилие. Взмах палочки или заклинание не кажутся мне такими уж подлинными жестами.

Речь не идет о волшебстве, как это ни жалко. Хотя, возможно, недостаток фантастики происходил из-за умиротворенной самодостаточности детского воображения. На самом деле желания ребенка намного проще и правильнее, чем у сказочных героев.

Я мог желать только, чтобы тыква, за которой бабушка отправилась на рынок, превратилась в сочную сладкую дыню, а никак не в прогулочную карету, строение которой мне до сих пор неизвестно во всех необходимых для воссоздания подробностях. И бабушка приходила с тыквой. А через час после моих спокойных упражнений появлялся сияющий дед, держащий в грациозных руках тяжелую полосатую «торпеду».

Опустив глаза, я умел исчезать на детских праздниках и в очередях. Иногда я загадывал к детсадовскому ужину оладьи с яблочным повидлом или сладкий рис, из которого можно было выудить целую ладонь изюма. Два местных хулигана – неумные карликовые задиры – подолгу толкали меня в плечо или щекотали, но от меня отставали после того, как я наконец-то отстранял их своей невидимой силой. И я невольно относил эти способности к бесценному опыту, подаренному мне благословенной грыжей.

Для меня в выходные оставались незаметными тихие скандалы моих родителей (косвенно связанные с моим досугом), после которых недовольный отец вел меня в парк и все-таки укладывался на траву, потому что и у него тоже были свои способы для довершения бесхитростной воскресной мечты. С травяного холма я долго наблюдал за тренировкой футболистов посреди маленького поля с высокими хоккейными решетками. Очевидно, с тех пор и ведется мое патологическое непонимание футбола – я часами пытался вникнуть в священную прелесть этой игры, в то время как у каждого игрока в ногах болтался мяч, они бегали кругами или подбрасывали свои мячи на вялых коленках. Может, мне бы удалось магическое расшевеливание этой тренировки, своей прогулки, отца, лежащего в траве с рукой на переносице. Но я думал, – как часто думают все ненастойчивые, доверчивые дети, – что так и должно быть, и в итоге я сам засыпал, изредка страдая от злобного любопытства муравья или почесывая на щеке глубокие травяные отпечатки.

Для моих близких мои способности не были очевидны. Может, они слишком уж сильно радовались тому, что я – спокойный ребенок, нежалобный, нетребовательный, незаметный. И все-таки я бы охотно им что-нибудь о себе рассказывал. Но я сразу привык к тому, что надо молчать о чем-то, чем обладаешь, и только из-за того, что вещь, скорее всего неинтересная, всем известна, только для тебя она – неожиданный источник радости. Равнодушие и фальшивое согласие – это самые очевидные признаки взрослых.

По пародийным ужимкам моего отца, который по-своему запечатлевал мое детство и составил себе маленький младенческий лексикон для всего дальнейшего общения со мной, я могу судить о себе как о канючливом и бесхарактерном ребенке. Судя по бесповоротному разочарованию во мне моего строгого деда (тоже отцовская линия), я когда-то готовился к карьере военного. А тетушка по матери до сих пор сохранила постыдную для меня форму подозрительности ко мне. Говорили, что меня через месяц жизни непочтительно стошнило у нее в руках, после чего она в приступе нечеловеческой брезгливости швырнула меня на диван. И, развернувшись среди подушек, я рассмеялся. Некоторые формы ощущения полета до сих пор кажутся мне интересными, и подозрительность ко мне – вполне оправданна.

Из моих волшебных свойств кое-что не осталось незамеченным. И я даже вдруг стал проблемой для своих родителей, после чего мама долго не могла разувериться в моих преступных наклонностях.

Я присваивал вещи. Это были не совсем спокойные события, потому что в этих случаях у меня горели глаза и потели ладошки, а рот наполнялся тем самым вкусом, который был связан с запахом цветов из воспоминаний об операции.

Итак, могу признаться, что я обменивал удивление от встречи с вещью на полноценное обладание ею. И где-то на радуге сознания эти продукты обмена оставались одним и тем же –

тайной сутью вещи, лазейкой в мир. (Интересно, оценил бы Яша эту – зажигательную для шапки – ретроспекцию от экономического учения к ноумену?)

Случалось так, что я узнавал в руках у другого мальчика свою игрушку. Например, русский штурмовик величиной с ладонь с подвижными подкрыльями и хвостовым рулем, да еще и раскрашенный с впечатляющим правдоподобием. Или большой урчащий Карлсон в каком-то избыточно ярком одеянии, с подвижными суставами гладкого желтого тельца. Он мог сгибать локоть, скрещивать руки и держал позу, мог сесть и не падал. Был автомат с тяжелым диском, мелодичный ППШ.

А можно вспомнить прозрачную лошадку, сплошной кусочек изумрудного стекла, довольно топорную, но с каким-то тревожным веянием в гриве и робкой грацией, которая передавалась и играющей в лошадку девочке, а может, исходила от нее.

Эти игрушки не просто попадались мне на глаза, но действительно были моими изначально. Мне казалось, что это встречаемые мною дети заражены странным беспамятством в вопросах моей собственности. Они все норовили с отчаяньем и ревом жаловаться на меня взрослым за то, что я лишал их своих любимых игрушек. Я пребывал в недоумении. Когда у меня – ради этих жалобщиков – отбирали очередную бесценную вещицу, именно редчайшую, избегшую печати серийности, и это без всякой надежды чем-нибудь ее когда-либо заменить, – тогда я впадал в ужас горького шока, я молчал и потухал, с неслыханной быстротой пытаюсь поверить, что никогда больше не увижу эту вещь и мне придется тем не менее вот сейчас ее лишиться. Меня ругали, расспрашивали папу, приводящего меня в садик, маму, забирающую меня. Я же пытался понять, когда это вещь не была моею. Стоило мне подойти к ней и взглянуться, как я в счастливом обожании притягивал ее к себе. И она уверенным спокойствием наполняла все мое прошлое.

Интереснее всего, что их-то я и сейчас помню, эти свои отборные игрушки. Некоторые из них были в моих руках долю секунды, потому что иногда мальчики оказывались сильнее, некоторые вещицы уходили со мной домой, иногда до понедельника, иногда на больший срок, если выяснения затягивались. Мама терпеливо старалась объяснить мне, что эта вещь не наша. Иногда игрушку долго приходилось искать у нас дома, и в поисках даже участвовали напуганные или обозленные матери обиженных малышей. Нередко пропажа вещи так и оставалась неразрешенной (были места между ребер батареи со стороны стены или в маминых сапогах).

Мне всегда было трудно преступать запреты и разрушать идиллию невнимания ко мне. Я хорошо знал, что, как только глаза взрослого или ровесника задерживаются дольше, чем это требует перенос взгляда по воздуху, это не сулит ничего доброго. Чужое внимание ядовито, и оно распространяется прозрачными клубами, напоминая чернила осьминога (их чернота копится вместе с глубинной тенью). Поэтому все, что делает человеческое внимание откровенно злым и едким, тем более пугало меня. Я был не слишком перспективным преступником, ручаюсь за это. И трудно было бы увидеть в моей внимательности к игрушкам зачин интригующей биографии веселого воришки или неторопливого насильника.

Какая-то неразрешимая ошибка в оценке окружающих, в их мышлении начала неотступно привлекать меня. Даже если присвоенная игрушка, так согласная быть моею, тут же возвращалась тому, кто никогда не смел ее по заслугам оценить и полюбить, как я, в моей памяти все равно вырастала эпопея сложнейших отношений с утраченным кусочком пластмассы. Металла. Стекла.

Я представлял себе все игры, и всю лилейную заботу, и все интерьеры и блики дневного и вечернего освещения, которыми я мог бы обволакивать эту бездушную радость, если бы только она мне принадлежала.

Случалось, я был безутешен, я клялся собственным родителям – к их общему потребительскому недоумению, – что игрушка моя. Моими доказательствами были только слезы,

настолько редкие и столь выразительные, что родителей я мог ими убедить. И это не было лживым изобретением, – если бы только они могли забыть, что покупали мне совсем другие игрушки.

На пике отеческого сострадания меня могли спросить – не подарена ли мне эта игрушка ее хозяином. И на этом последнем предательстве я окончательно срывался: переставал плакать и отвечать на вопросы. В глазах стояла утраченная вещь. Сияющая, играющая со мной вещь, и я уже не позволял слуху вмешаться в спасительный труд воображения. Еще одно благо со стороны моей семьи – что меня немедленно оставляли в покое, что слова аутизм и детская клептомания, способные заставить тревожного родителя жадно калечить сознание ребенка, встретились мне только при недавних недоуменных экскурсах в психологию.

Включать слух я научился сам, когда понял, уже будучи первоклассником, что это можно делать, не причиняя вреда работе воображения, и обращающимся ко мне требуются самые элементарные ответы, в момент произнесения которых можно не отвлекаться от своих внутренних занятий.

Последняя сбежавшая ко мне игрушка оказалась красивейшим Винниту из мягкой цветной резины, рассмотрев которого, я брезгливо признался себе, что использовал свою силу бесцельно, что я просто похитил (из открытого ранца) совершенно чуждую мне вещь (незаметно полетевшую обратно). Весь класс боготворил этого индейца, присланного из Германии вместе с вожделенными шарами ярких жвачек и наклейками, по которым мы знакомились с голливудскими мультяшками.

Чужая радость всегда умиляла меня, но с тех пор я проверял ее собственным позвоночником, поскольку занимался поиском не красочных всплесков увлекательных и будоражающих мгновений жизни, а – счастьем. Любопытно, что последние всхлипы материального воровства (а от чувственного его продолжения я никак не отказываюсь) выразились на тот момент в обратных действиях: я развил в себе уникальную чуткость карманника, когда подбрасывал переводные картинки или рассовывал ириски по незнакомым карманам висящих вдоль одной стены класса курточек и шубок.

Подозревать, что я бы меньше играл в игрушки, если бы они все-таки действительно принадлежали мне, бессмысленно. Это значит, что в моем рассказе увидены откровения пациента, а не чистые детские воспоминания. И вряд ли в моей будущей жизни найдутся сцены, к которым подошли бы эти золотые ключи. Что-нибудь вроде тоски по недоступному, нереализованные желания, неразделенная любовь – все это есть в любой жизни, не только в моей. Я глубоко сомневаюсь, что, если бы у меня было другое детство, я бы избежал обычных человеческих несчастий – плотских неудач и оболстительных обманов. Но без того, что мне открылось в детстве, я бы никогда не научился оставаться счастливым, несмотря на все это.

Я всегда был внимателен к человеческим неврозам и депрессиям, то есть к тому ряду историй, которые будто бы относятся к диковатым обычаям соседних народов. Я избежал и этих обычаев, и прыщавой коросты, и истеричных сцен, и всего того, что делает с родителями нелепая психика подростка. Каким-то образом, – возможно, своей безучастностью, – мои родители заслужили это относительное спокойствие, и я избавил их от тех законных истерик, которые предписывались мне на нескольких ступенях сложного возраста.

Сейчас я хорошо вижу, как мой рассказ о тоске по чужим игрушкам окажется понятным тем, кто изводит себя мучительными мечтами о недоступном. Бывает и так, что слишком зрячий человек встречает на каждом шагу, например, светящиеся чудеса девичьей красоты. Ровные белые предплечья, – заметный только при особой скользкой подсказке солнечного луча пушок на щеках, – все эти завитки на висках, кружение волосков от твердого маленького уха вдоль шеи, – мышечная тень на бедре при широком летнем шаге, – венка, складка, царапина на ненадежной косточке щиколотки. Но я избавлен от каких-либо слишком уж безраздельных мук своим чудесным опытом. Я с легкостью продолжаю присваивать, продолжаю наслаждаться

всем, что особенно нежно вижу, и считаю большим благом свои немедленные визуальные радости по сравнению с тупым и однообразным ожиданием каких-либо других.

Смотреть, смотреть – не такое уж бесполезное занятие, которое отъявленные аудиалы или адепты абстрактного мышления ставят в вину созерцателям. С внешней стороны глаза только чуткая влажная пленка, зато с другой стороны – уже за глазной ямой, маленькие нервные нити производят чистейший опиум.

XI

Со времени нашего с Юлией знакомства я видел:

бледный язык, продемонстрированный мне единожды в ответ на какие-то шуточные сожаления;

раза четыре – в открытом платье плечо, удлиненное двумя (смотрящими в разные стороны) каплями тени – над ключицей и под ней;

довольно часто – один к одному подогнанные пальчики ног с отстающим во время вольного домашнего шага мизинцем;

только раз – одну из грудей, мелькнувшую за воротником халата, когда какой-то листок заставил ее быстро нагнуться в полутьме (но не без того, чтобы полоска солнца, пробившаяся сквозь тополь, миновавшая тюль и отраженная от моих глаз, высветила острый бугорок посреди вспухшей рыжеватой ареолы);

ее глаза (редко вблизи, но непрерывно) – светлая лазурь с вкраплением отчетливых бледно-коричневых зерен в еле заметной опуши бездонной синевы.

Все эти ее черты я почитал уже своей собственностью и мог извлекать на свет, когда мне этого хотелось. Я собирал Юлию из живых деталей и научился коллекционировать ее при помощи немедленных записей (небольшой блокнот всегда водился у меня в руках, как у немого). Она не нуждалась больше в усилении воспоминания, поскольку постепенно становилась моей, почти была в руках.

Я учился перекачивать ее в сознании, как вечный леденец, и после этого стало совсем легко узнавать ее при встрече. Мне даже показалось, что я мог бы отлично предчувствовать ее появление за несколько минут до случайного столкновения с ней. (Не присвоение уже, а подарок.) Однако нечаянные встречи в университете вскоре совсем прекратились, остались только заранее обговоренные. Зато Вторую Юлию я встречал все чаще и был благодарен ей за то, что она не давала мне времени ее припоминать.

– Что, не узнаешь? – сразу начинался ее разговор. – Я хочу купить в вашем корпусе книгу.

– Какую это?

– Сейчас посмотрим. У меня правило – с каждой стипендии покупать книгу. Хорошо бы появилось следующее правило: сразу ее прочитывать. Но с этим как-то не очень! Они у меня копятяся прямо на письменном столе. Это так славно!

Вдруг я вспомнил кое-что. Воспоминание так яростно озаряет мой мозг, если появляется в нем среди всего, что я всеми силами стараюсь удерживать, что часто бывает – я отдаюсь свету этого посещения и уже не различаю, что оно мне принесло. Энтомолог, писатель-энтомолог – так Юлия Первая назвала автора книги, которую читала. Кто это мог быть? Из крупных потрепанных книг я заметил у нее «Недостающего гомункулуса» Николая Плавильщикова, кажется, был хороший том Жана Анри Фабра, при мне она искала для кого-то (не для Второй ли?) Юнгера, затейливо изданный Иоанн Фридрих Йенике – книга старая, с нарисованной маслом пчелой на титульном листе – «Руководство по живописи». Но когда Вторая приобрела у нашего книгопродавца первый перевод «Ады», я понял, какого энтомолога имела в виду Юлия I. Однако почему книга в ее руках была такой большой и такой состаренной, давно ли его начали издавать в России?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.